

5

ISSN 0207—4001

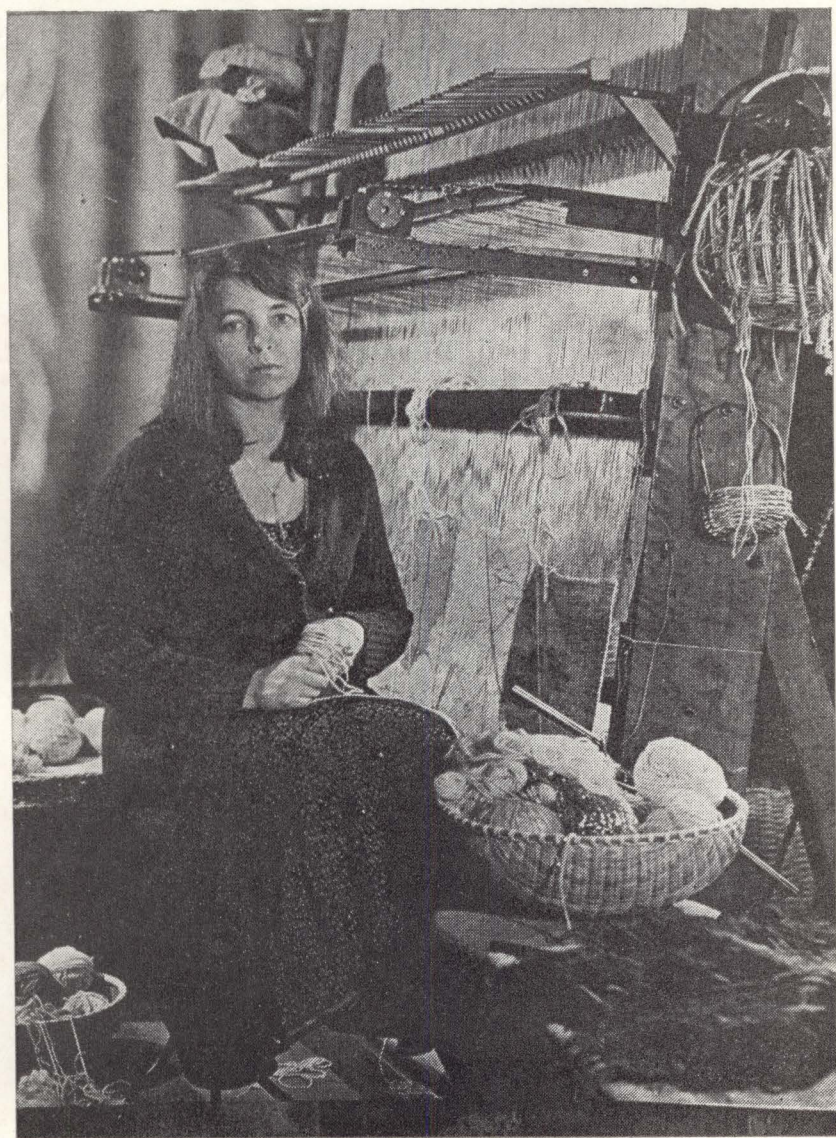
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ФЕНОМЕН ИЛЬИЧА!

ГИБЕЛЬ ГОСУДАРСТВА

РЫЧАТ ЛИ РУЧНЫЕ ТИГРЫ!

90

Даугава



Эдите Паулс-Вигнере.
Момент
творчества
(см. с. 123)

На третьей странице обложки:

Выставка работ Эдите Паулс-Вигнере в открывшемся недавно после реставрации выставочном зале в помещении бывшей церкви св. Георгия

ДаугавА

М А Й (155)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

- 3** Янис Рокпелнис
Секрет бора. Стихи
- 8** Аншлавс Эглитис
Охотники за невестами. Роман. Продолжение
- 36** Дмитрий Леонтьев
Дневник в четырех главах. Окончание
- 61** Анатолий Цапенко
Источник. Стихи
- 65** Калика Перехожий
Удильщик на Двине. Окончание

Публицистика

- 72** Юрий Гуреев
Размышления о Ленине и ленинизме
- 83** Айвар Странга
Гибель государства
- 91** Воспоминания
Публикация Иманта Белогривса
- 95** Абрам Терц
Литературный процесс в России
Культурология
- 114** Вадим Руднев
**Джордж Эдвард Мур и лингвистическая философия
XX века**

1990

5

В номере (окончание):

- 116** *Джордж Эдвард Мур*
Рычат ли ручные тигры!
К нашим иллюстрациям
- 123** *Айварс Калве*
В гобеленах — судьба народа
- 125** **Почта «Даугавы»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Адольф ШАПИРО.

Редакция:

Андрис ЯКУБАН, зам. гл. редактора (член редколлегии), Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК, зав. отд. поэзии (член редколлегии), Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Вадим РУДНЕВ, зав. отд. критики, Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, спецкорреспондент.

СЕКРЕТ БОРА



Перевел Сергей МОРЕЙНО

* * *

Протока, травой заросшая,
Милая моя, суженая...
Устала нести свою ношу —
Нужно ли это, нужно ли?..

Протока, жизнь без конца,
Не по погоде одетая.
Пусть еще лодочник хлебнет своего пивца
На берегу искромсанном Леты.

* * *

Латышский поэт Янис РОКПЕЛНИС родился в 1945 году в Риге. Изучал психологию и философию в Ленинградском, затем в Латвийском государственном университете. В 1981 г. получил диплом преподавателя философии.

Изданы сборники стихов: «Звезда, тень птицы и другие» (1975), «Абориген Риги» (1981), «Поезд из города Р.» (1986). Автор сценариев кукольных фильмов, фильма об А. Чаке. Выступает в печати со статьями по искусству и литературно-критическими статьями.

Переводил произведения И. Анненского, А. Блока, М. Цветаевой, Махтумкули и других поэтов.

Ояру Вацетису

За Двиною один есть дом.
В доме том жилец был прописан.
Сколько раз я туда веслом
Правил лодку (хотя бы в мыслях)!

А теперь этот берег пуст.
В лодке течь, а в сети прореха.
Весла ложками стали, а мачта — куст,
С того дня, как жилец уехал.

РЫЖАЯ ДЕВУШКА В ВЕЦРИГЕ

ногами готически длинными
ногами готически рыжими
сквозь башни из медной тины
по грубым булыжникам

Вецриги младшая дочка
откуда-нибудь из-под Добеле
по влажным каменным кочкам
среди фонарей заколдованных
где древние тени клубятся урчат
она пробегает как отблеск луча

ногами готически длинными
ногами готически рыжими
с лицом из весны
и волосами из осени

* * *

паломник шел за лимонадом
в стеклянный замо́к магазина
верблюдом плелся трактор рядом
и воздух обдавал бензином

но золушка в автомобиле
мчит на железный гроб похожем
и путник из дорожной пыли
вместился в гроб железный тоже

он не дурак и распускает
язык ершистый и спортивный
но очень скоро поникает
под взглядом глаз ее крапивным

хоть лимонада грех и слаще
хранит паломник постоянство
все ближе очереди чаща
вне времени и вне пространства

* * *

ах натюрморты свалок здесь
поют окурки словно флейты
и на листе газетном весть
еще пророческая тлеет

бутылки стонут еле-еле
о перебитых побратимах
и мы берем билеты к велям
в трамвай луны летящий мимо

всей жизни реквизит лежит
в музеях красочных задворок
и выдаче не подлежит
кому бы как он ни был дорог

* * *

Колебался воздух, и в комнате той были
И люди. Но их лиц в тот раз
Мы не увидели. Увидели потом.
Потом, когда открылись двери. Воздух
Дрогнул, и острый запах тлена
Поплыл по комнате на легких крыльях моли.
Мы ощущали что-нибудь? Не знаю. Может быть.
Мы всматривались в тела ушедших лет,
Что, сгорбившись, по комнате бродили
И в темноте шептались по углам.
О чем они шептали? Я не помню.
Мы пробовали что-то им сказать,
Но те не отвечали, и в молчанье
Из комнаты мы вышли той, где вечно
Колеблется лишь воздух, и не видно
Лиц. Мы разглядели их. Когда? Потом.

* * *

когда его проткнула одна из улочек Вецриги
из раны
хлынули гроздь рябины
капли рябины
на брусчатку
лишь умирая он сбросил маску
вишневая косточка ему надгробьем

* * *

Что ж, у черных листьев зимние заботы,
Что ж, пускай летают, каждому свое.
Здесь у них гостиница, дерева работа,
Ну, а листья черные — это воронье.

У зеленых листьев голоса приятней,
У зеленых листьев рты не крикнут кра.
А воронье пенье — дереву зарплата,
Раз зима притихла, словно бюрократ.

* * *

что с того что уже моя кровь у судьбы
на посылках
этот рдеющий ветер во что-нибудь ты собери
и тогда я пойду ты собери
к тому
кто принимает бутылки
и он отсчитает оболы два или три

СЕКРЕТ БОРА

Секретом связан бор,
Как зябкой дрожью тело.
И не один топор
Затуплен звездным мелом.

Легла загадкой мгла
Лишь для того, наверное,
Чтоб в жилах кровь могла
Бежать быстрее серны.

Но нужен нам бальзам —
Тот маленький обман,
Чтобы гореть глазам,
Как в древних фолиантах . . .

* * *

чужое тело рядом дышит
с которым прежде чем уснуть
такой узор знакомый вышить
мне предстоит скользит неслышно
ведро в колодезную ртуть

двух сигарет окончен путь
чужое тело рядом дышит
чья отчужденность drankой с крыши
уже осыпалась чуть-чуть

* * *

Мой пес —
мой поводырь слепому.
Зеленой землю
вижу снова.
Я серым лужам шубы глажу,
которых нет на распродажах.
Я чую умерших и велей,
глаза их видеть не умели.
Мир ускользает под откос.
Зато в глазницы впрягся пес.

* * *

на остановке табличка из жести
деревня, которой давно нет на месте
у этой могилы
мы сходим, мой милый

вот, значит, осень и души поселков
в Ригу бредут по окрестным проселкам
ростом с версту и в версту шириною
осыпаны рыжей березовой хною

на площади Домской застелим кровати
Риги скончавшимся сестрам и братьям
вот, значит, осень: устало и просто
входит в Ригу погост за погостом

* * *

Нет, слишком рано, слишком рано,
Стяни скорее саван с плеч.
Ты можешь яблони стеречь
И засыпать в кустах бурьяна.

Пусть лепестки успеют стечь
Последним танцем, страстным танцем.
Стяни скорее саван с плеч —
И ледяной примеришь панцирь.

* * *

У колодца столкнулись в упор мы.
Слишком много пришло их к колодцу.
Кожаны, рукавицы из дерна,
Все чужие . . . И запах скотский.

Все чужие. Ведро на ораву.
Пили сменами — я и они.
Брызги искрами сыпались в траву,
Догорал, как костер, родник.

Этой ночью колодец умер.
Так на кой же им сдался я-то —
Чужакам из породы угрюмых! —
Руки жгут черенки лопат.

* * *

в дверях:
круглая ночь черное яблоко
комбинация из тишины и порога
чешуей обрастает сердце
и уплывает
небо зябнет. Ведро
начинает звонить в колодце
и пальцы горят жидким пламенем
в звездной рубленой хвое
путь перелетных птиц

ДЕТСТВО СЕТЧАТКИ И ВЕТЕР

Детство сетчатки, ветер,
да, очевидно, пронизывающий ветер,
земной фундамент сложен из ветра;
поцелуй растворен во времени
и пространстве,
еще не уточненный ничьими губами,
жарко горящий спросонок.
Да, детство сетчатки, ветер —
осушитель слез, шуршащий ресницами;
пальцы искрятся, омытые снегом.

Детство сетчатки, ветер.

* * *

Он был чужим, когда его я встретил.
Осенний лист не говорил, что это ветер.
Снежинка холодно не молвила ни слова.
Метался ветер; я сказал: попробуй снова.

Я брал в расчет устойчивые вещи.
Лишь времена, застывшие, как вечность.
Застыло время, и мгновений мертвых ношу
Нес мимо ветер; я сказал: ну что ж!

Ко мне их смерть еще не относилась.
Не билось время, не рвалось и не делилось.
Был смысл ветра сквозь мгновенья различим.
А дом мой пуст. Мы не видались с ним.

... Теперь, как самого себя, я ветер знаю.
То есть не знаю вовсе. Вспоминаю,
Что он непредсказуем. Тут он честен.
Ведь мы мгновения сквозь время тащим вместе.

ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ

Р о м а н

Перевел Леон ГВИН

13

Из женских движений самое прекрасное — вальс.
Рудолфс Блауманис

Между тем Эпалт прилежно обучался танцам.

Еще Порукс сказал — кто плохо танцует, тот не имеет успеха у дам. Эпалт тайком разузнал подробности приема во все рижские танцклассы и обо всех учителях. Частные уроки слишком дороги. Остаются курсы. Чрезвычайно опасаясь, как бы вся затея не вышла наружу, он выбрал школу на окраине города и курсы, начинавшиеся совсем поздно — в половине десятого вечера. На занятия крался по переулкам, подняв воротник и надев старую отцовскую форменную фуражку яхт-клуба: надо надеяться, в темноте никто не опознает в спешащем куда-то молодом человеке Павла Эпалта.

У черта на куличках, зато учитель не без имени. Если братья за дело основательно, надо начинать с азов.

Около двадцати девушек и женщин самого разного возраста и формата испуганно жались в углу танцевального зала, длинного и узкого. Одни, судя по рукам — большим, красным и вспухшим от воды, не то прачки, не то посудомойки. Другие, в домотканых платьях, — вчерашние сельчанки, приехавшие в город делать карьеру. Иные уже в летах и в теле, видно, только сейчас догадались, что умение танцевать им не помешает. Затесались сюда и совсем молоденькие школьницы — как и Эпалт, они мечтают поразить мир (а пуще всего подруг) искусством танца, которое, хотите верьте — хотите нет, снизошло на них с небес. Дамский кружок держался тесно и

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 2—4.

отчужденно, и Эпалт, решивший подсесть к ним и поболтать с кем-нибудь, вмиг понял, что он тут лишний, и поспешно ретировался в курительную комнату.

В курилке толпился народ, дым стоял столбом. В большинстве своем здесь были желторотые юнцы, но попадались мужчины и постарше, у некоторых даже серебрились виски. В синем табачном дыму лоснились гладко прилизанные головы, умощенные брильянтином и помадами самых нелепых рецептов. В глазах рябило от галстуков и гетр умопомрачительных расцветок, брелков, цепочек, браслетов и всевозможных значков на лацканах пиджаков. Кое-кто был навеселе. Покуривали нервно, разговоры не клеились, хотя многие пришли вдвоем с приятелем. На лицах было написано желание овладеть всеми этими штучками-дрючками, этими методами и приемами, которые дают возможность быстро и не робея сблизиться с женщиной. Только некоторые парочки — гибкие, стройные юноши со своими юными дамами — сидели в отдалении невозмутимо, как ни в чем не бывало. Видимо, открыли особые методы сближения.

Эпалт был доволен. Тут уж его никто не найдет. Те, у кого есть деньги, обучаются танцам в группах на дому, студенты — в своих организациях. Разглядев публику, он принялся за осмотр помещения. У стены огромный портрет хозяина школы: элегантный джентльмен во фраке, одна рука в кармане брюк, в другой, между средним и указательным пальцами, небрежно зажата папироса. Снят на балу, на фоне переливающегося огнями зала, где извиваются тонкие, как стебли кувшинки, танцоры. Фотопортрет в окружении дипломов в рамках. Где только не побывал танцмейстер — на конгрессах в Париже, Вене, Лондоне, Берлине... да он еще и актер: окончил драмкурсы по амплу комика-любовника. Превосходно! А вот и сам.

Как-то еще в школе Эпалт ходил на курсы танцев к легендарному Каулиньшу. Это был сухонький старичок во фраке, коротких люстриновых брючках, длинных чулках и бальных туфельках. В его пробежках и прыжках, наклонах, поворотах и галантных улыбочках чувствовалась грация балетмейстера старых времен. Он отрастил с одной стороны длинную прядь волос; искусно уложенная через всю лысину, от уха до уха, она при движениях приподнималась и опускалась над голым затылком, как гнездышко. В предмет его входил и бонтон минувшего столетия, маэстро показывал, каким манером и с какой стороны поддерживать даму за локоть — знакомому, влюбленному, обрученному и мужу. Учил целовать даме ручку — сложнейшее искусство, бесчисленные нюансы которого позволяют выразить все, что на душе, и предложить все, что в мошне.

Современные танцы он ни во что не ставил и обучал им нехотя, кое-как, но вот уж старинные преподавал с огоньком — мазурку, кадрили, падекатр, падеспань (школьники язвили: поди спань). В них взаимное положение партнеров непрерывно меняется: они расходятся, сходятся, берутся за руки, изгибаются по-всякому, обмениваются улыбками, кланяются друг другу, только что не целуются... и пусть не говорят, что в старомодных танцах меньше эротики, чем в нынешних, нет, просто они более утонченные; прекрасно зная это, учитель не мог не поражаться тому, как удается примитивному до наивности фокстроту вытеснить изящные древние па. Из новых танцев он признавал только танго, и то лишь медленное, сдержанно-страстное, щемящее, какое давно уже нигде не танцуют.

С тех пор балетмейстеров Эпалт представлял себе хрупкими, юркими старичками, вроде Петипа с выцветших картинок — на тонких паучьих ножках, с дирижерской палочкой в руке. Но тут, к величайшему удивлению, он увидел совершенно иной тип учителя танцев.

Молодой. Высокого роста. Ультрамодный костюм. Необычайно смуглое, но сероватое лицо — печать ночного образа жизни. Выражение лица неприятно высокомерное, хотя в заносчивой усмешке порой проскальзывает и что-то сочувственное. Как можно было понять, он глубоко презирает своих учеников и их внезапно открывшееся пристрастие — всезнающий старший брат, который свысока взирает на проказы младшего. У маэстро странная заученная походка: при каждом шаге он верхней частью туловища как бы подается вперед, разворачивая могучую грудь, и на спинке пиджака обазуется глубокая впадина.

Еще один атлет сел за рояль и со всей силы надавил на приставную педаль барабана. Учитель согнал всех в зал, включил яркий свет и на одном дыхании произнес:

«Здравствуйте, дамы и господа, приступим к уроку. Кавалеры приглашают дам. Не так, не так. Руки из карманов! Кавалер приближается не спеша, спокойно, как ни в чем не бывало, с десяти шагов взглядывает на даму, чтобы она знала, кто ее будет приглашать, в четырех шагах от дамы поворачивается, руки по швам, приставить ножку, поклон, непринужденной, господа, непринужденной, не щелкать пальцами. Дама сначала склоняет головку, потом поднимается с места».

Построив присутствующих парами, а оставшихся без пары мужчин — по двое, он продолжал:

«Тот, кто хочет у меня заниматься, должен уметь ходить и делать так. — Он встал пятки вместе, носки врозь и покачался в коленях. — Остальному здесь научат. — Тут он закатил глаза, потом подмигнул ученикам и коварно усмехнулся, опустив уголки губ. Его ремесло доставляло ему наслаждение. — Теперь покажите мне, как вы умеете ходить».

Зазвучала приятная мелодия, ноги сами пошли, каждый шаг аккомпаниатор обозначал четким ударом. Но оказалось, что дергаться в такт музыке еще не значит ходить. Невероятно — как неуклюжи эти люди, как они шаркают, маются, шлепают, хромают, крадутся, семянят и наталкиваются друг на друга; чем реже ритм, тем более рваный шаг, движения дикие, суетливые, ходят, трусливо втянув голову в плечи, по-кошачьи выгнув спину, скособочившись и не зная, куда девать руки; участники странного шествия все разного роста, физиономии сосредоточенно-угрюмые и отрешенные — жуткое зрелище, напоминающее процессию калек или пляску юродивых со средневековых гравюр. Маэстро ухмылялся. — «Энергичней, легче, эластичней, держитесь раскованно! Сено-солома, левой-правой, сено-солома, марш, марш, марш, марш . . .»

Частила барабанная дробь; посреди зала, демонстрируя правильные движения, изгибался всем станом учитель и, гляди-ко, спустя каких-нибудь полчаса нестройное дерганье и шарканье стало напоминать нормальное и вполне даже приличное хождение. К концу занятия уже получалось нечто, отдаленно смахивающее на фокстрот.

Но едва приступили собственно к танцам, как выяснилось, что мужчина с женщиной не способны и шагу сделать. Во-первых, у них был очень уж дурацкий вид. Во-вторых, никто не хотел играть роль дамы, роль для мужчины столь же порочную, сколь и по-

стыдную. Между кавалерами, которых было по крайней мере втрое больше, чем дам, разгорелось нешуточное соперничество.

Перед очередным уроком женщины, как всегда, уединились в зале, а мужчины в курилке. Неписаная традиция, которую здесь строго соблюдали. Ближе к началу представители сильного пола сгрудились в дверях зала, как кинозрители в проходе к дешевым местам; вероятно, кинотеатр и послужил образцом для здешних правил. Учитель по обыкновению направлялся на урок через курительную комнату. Как только он появился, толпа ринулась в танцкласс, веером рассыпалась во все стороны, и в мгновение ока дамы были разобраны. Неудачники отхлынули к дверям и, огорченно вытянув шеи, с грустью следили за тем, как скользят по паркету счастливые обладатели партнерш. Ничто не могло побудить обделенных кавалеров разбиться на пары и присоединиться к танцующим.

Тщательно обдумав ситуацию, Эпалт избрал замечательный трюк: из мужского туалета было два выхода — в курилку и в класс. Подглядев в щель и улучив момент, когда учитель возник на пороге курительной комнаты, он мгновенно выскочил через другие двери, на целых два шага опередив остальных. Благодаря этой уловке Эпалту дважды доставались самые лучшие дамы, но на третий день к нему присоединился еще один умник, а на четвертый в туалетной толклось не меньше народу, чем наемдни в курилке.

Поди обставь этих окраинных денди, щеголей с форштадтов, которые за свои кровные готовы снести человеку голову и, пихаясь и толкаясь, уводят, нет, выхватывают дам из-под носа. То подставят подножку, то целой клаквой отсекут широкими спинами чужаков, чтобы пропустить вперед своих. Однажды Эпалту все же повезло, но когда он хотел забронировать за собой партнершу на все время курсов, она — невзрачная дурнушка, толстая, старая, грязная и к тому же коротконогая баба, на которую в другом месте и в иных обстоятельствах никто бы и внимания не обратил, — только надменно усмехнулась, исполненная сознания своего сильно повысившегося в цене достоинства.

Положение становилось катастрофическим. Без дам урок не урок. И хотя маэстро объявил для них половинный взнос и, более того, бесплатно пускал на курсы всех девушек, посещавших еженедельные школьные вечера танцев, в раскаленном месиве страждущих поклонников ритмического движения и эти резервы таяли как воск. А у Эпалта — ни знакомой, ни подруги, кого бы посвятить в школярские страсти и кто бы так плохо танцевал, что согласился взять на себя роль его партнерши.

На пятом уроке случилось нечто такое, от чего Эпалт чуть в обморок не упал. В первое мгновение он подумал даже, что от нервного напряжения, вызванного чередой неприятностей, у него помутилось в голове и это самые настоящие галлюцинации: снова протиснувшись в зал с роковым опозданием на полсекунды, он увидел Дагне Сургениек.

Эпалт невольно зажмурился, а когда открыл глаза, Дагне стояла на прежнем месте, жестом отстраняя какого-то незадачливого кавалера. Эпалт, пошатываясь, подошел к ней и протянул трясущуюся руку. Это не призрак, это действительно Дагне, ее влажная, прохладная, вялая ладонь.

«Какое удивительное совпадение, — пролепетала она. — Я хотела научиться танцевать по секрету, а вы тут как тут. Вы никому не расскажете?»

Ну разумеется, он ее не выдаст. Все это, конечно, ужасно, но так или иначе теперь у него есть дама. Обучение сразу пошло на лад. Однако к концу урока в душу закралось сомнение. По секрету научиться танцевать? У Дагне Сургениек широкий выбор возможностей. К тому же до начала занятий она стояла посреди танцклассы в окружении стаи голодных кавалеров, стояла неподвижно как статуя, — значит, успела отказать доброй полудюжине, словно ждала подходящей пары. Ясно как день — она его выследила! Эпалта затрясло от злости. Всё, что прямо или косвенно, нарочно или случайно отделяло его от Николины, он ненавидел пламенно, просто пылал гневом. Еще немного — и бросил бы к черту Дагне, а с нею и курсы тоже. Но — какой в том резон, спрашивается? Коли уж так обернулось, пусть Дагне, сама того не подозревая, послужит его целям. Танцуем! И он стал заниматься так напряженно и сосредоточенно, с таким необыкновенным прилежанием, увлекая за собой и тяжеловатую на подъем, вялую Дагне, что далеко превзошел всех прочих курсантов.

На последних уроках им обоим оставалось только внимательно следить за выражением своего лица. Лица Дагне и Эпалта, всецело поглощенных сложными фигурами, кривились и перекашивались, лоб бороздили морщины, брови сходились, как бы норовя ущипнуть друг дружку; кавалер и дама, кусая губы, выгнув дугой шею, мрачно глядя себе под ноги, кружились волчком и извивались ужом, как страдальцы, пораженные ужасной болезнью внутренних органов, адскими коликами. Маэстро при виде такого старания посоветовал им записаться на дополнительные курсы. Воздавая должное их успехам, он дал им возможность тренироваться на «практических вечерах» и под конец во всеуслышание заявил, что они — великолепная пара. Теперь Эпалт и Дагне плыли по паркету, как лебеди по озерной глади, расступались, сходились и чередовались в фигурах, скользили вперед и подавались назад, выполняли немислимые повороты, изгибы и наклоны в сложнейших вариациях, и при этом по их лицам гуляла утомленно-пресыщенная или пресыщенно-утомленная, добродушно-ироничная или иронично-добродушная усмешка, а костюм и платье мялись, морщились, топорщились и отходили в сторону не больше доступного. И когда однажды маэстро велел им взять еще пару частных уроков и явиться на танцевальный турнир, Эпалт понял, что трудное и благородное искусство танца ему покорилося, а поняв это, исчез из виду так же внезапно, как и объявился.

*

Супруги Душелисы из Парижа и Тюрзены из Айнажи прибыли в Ригу почти в один день. Душелисов ждало уютное гнездышко на улице Реймерса, самой прелестной из рижских улиц, ибо она короче остальных и соединяет два великолепнейших бульвара и два прекраснейших парка. Выбирая свадебный подарок — обстановку квартиры, Гризли отдала предпочтение золотистой карельской березе и нежно-розовому, как лососина, атласу. И вот новая мебель доставлена — сверкает, переливается, блестит лаком и полировкой. Однако обещанный автомобиль, трехместную спортивную машину, пока придется подождать. Свадебное путешествие обошлось в изрядную сумму.

Возвращавшиеся из Парижа стипендиаты и деятели искусств давно уже рассказывали целые легенды о том, как Душелис прожигает

жизнь в злочных местах французской столицы. Он перепробовал буквально всё, всюду побывал, чего только не навидался, глаз его радовали все парижские утехы, красоты и непристойности, начиная со знаменитого Фоли-Бержер и кончая захудалыми кафе-шантанами, жуткими притонами на улице Блондель и безбожным монпарнасским «Сфинксом». Но еще пуще услаждал он язык, глотку и желудок. С бесстрашием исследователя и педантизмом коллекционера отведал он всё, что способна предложить столица мира, от примитивных устриц, классической индюшки, нафаршированной трюфелями, экстравагантных лягушачьих лапок до всех этих чертовски оригинальных колониальных закусок. Не удовлетворившись первыми пробами, облазил ресторанчики арабской, армянской, негритянской и адской китайской кухни, поглощая в неизмеримых количествах отвратные тухлые яйца, пудинг из дождевых червей и саранчи, жаркое из крыс, блюда из ласточкиных гнезд и мерзких морских гадов. Душелис еще дома, в Латвии, имел репутацию пропойцы и объедалы. Здесь, в гурманском раю, при полной нестесненности в средствах, эти его склонности вдруг расцвели, словно кактус, пышным цветом. Парижские латыши, полжизни проведенные в этом городе, но так и не научившиеся отличать сухие вина от обыкновенных, диву давались, с какой легкостью заезжий гость ориентируется в необозримых лабиринтах вин, коньяков, аперитивов разных марок, как быстро он перешел на «ты» с ликерами, славой и гордостью французских монастырей, как мгновенно усвоил нелегкую и отнюдь не простую науку о сырах, не говоря уже об улитках, рыбах, креветках и иных яствах, где сортов поменьше, а разбор попроще. Уже на второй день Душелис, подобно старому гурману рантье, умел по всем правилам обнюхать дыню, легонько потискать ее над ухом и безошибочно выбрать зрелую, сладкую, с тонкой коркой и почти без семян.

По приезде домой, по-прежнему неутомимый, весело настроенный, хотя и потучневший, он стал завсегдатаем рижских ресторанов и кабаков — как бы пытался решить для себя вопрос, можно ли и в родном городе поесть пусть не столь изысканно, однако же не хуже, чем в Париже. Его супруга, напротив, вернулась в Ригу сильно изменившейся, кроткой и смирной. В родительском доме почти не бывала, не навещала старых друзей и вела замкнутый образ жизни: всё одна да одна, пока Душелис весь день или сидит в своем кабинете в банке Сургениека, или ходит по банковским делам, а чаще и охотнее всего — по гастрономическим и питейным заведениям. Вечером и ночью он тоже пренебрегал обязанностями мужа, и вскоре по городу поползли слухи — люди гадали, чем вызвано это довольно необычное охлаждение в разгар медовых месяцев.

Мартин Тюрзен принялся за устройство своей жизни с наименьшим рвением и охотой. Превыше всего цена независимость, он не стал снимать квартиру, а купил домик в целебном лесистом районе города — Межапарке. Человек по натуре экономный, Тюрзен довольствовался старой мебелью, вывезенной из Айнажи, добавив к ней только самое необходимое. Лишь в одном не скупился — в тратах на обувь, предпочитая самую шикарную и дорогую; в шкафу у него стояла целая батарея ботинок и туфель, черных, коричневых, сизых, белых, хромовых, шевро, замшевых, лаковых, на простом и резиновом ходу и всякой разной патентованной подошве. Жена его не уставала дивиться странной прихоти супруга, но, будучи женщиной рассудительной, решила, что идеальных мужчин вообще не

бывает и гораздо приятнее иметь в мужьях обувного фетишиста, чем запойного пьяницу или бабника. Добрейшая Карлина запомнила, что Никелевый Мартин все свои школьные годы проходил в постолах, она и ведать не ведала, каких только унижений не пришлось ему вытерпеть по этой причине.

Впрочем, разевать рот на чудеса в решете времени не было: Тюрзен не мешкая устроил жену в одно из министерств, а сам открыл посредническое бюро. Кое-какие связи и начальные познания в спекуляциях земельными участками он приобрел уже при распродаже жениного имущества в Айнажи и покупке собственного дома в Риге. Не теряя ни минуты, он вложил приданое Карлины в небольшие земельные владения на рижских окраинах — в Торнякалнсе, Агенскалнсе, Засулауксе, Межапарке, в последнем особенно, поскольку шестым чувством угадывал не просто лучшие, но перспективные места, предвидя, как впоследствии раскинется сеть улочек с загородными дачами и коттеджами. На дела и разъезды уходило несколько дней в неделю, остальное время он лечился в своей окруженной соснами резиденции, лежа на веранде в подбитом ватой спальном мешке из овчины. Но если обыкновенно легочные больные, укутанные по самую шею, покорные судьбе, весь день лежат смиренно, как куколки, то Тюрзен попросил приделать к мешку спереди два рукавчика, сложил вчетверо варежку, проткнул сквозь нее карандаш и писал, вычислял и рассчитывал финансовые комбинации. Жена, воротясь со службы, тотчас принималась ухаживать за мужем, и хлопотам ее не было конца. Карлина Тюрзен была из породы тех молодых домохозяек, которые буквально заболевают и усыхают, когда не о ком позаботиться.

Способности Тюрзена раскрылись сразу. Бюро без году неделя, а он уже с выгодой перепродал ряд своих участков. Новоявленный коммерсант удачно помещал в газеты рекламу и вообще действовал с таким размахом, что жена после обеда едва успевала переписывать на машинке письма и договора. Она предполагала оставить в обозримом будущем работу в министерстве и полностью посвятить себя делам конторы.

Через какое-то время о Тюрзене заговорили как о человеке опасном и ловком, хотя и не очень разборчивом в выборе средств. Он купил в Межапарке узенькую полоску земли, примыкавшую к горделивому летнему дворцу консула Майора; между тем консул подумывал о том, чтобы вообще переселиться на дачу, приспособив ее для жизни зимой. На своем клочке земли Тюрзен поставил незрачную хибару и разрешил одному куроводу держать там птицу — бесплатно, но с условием, что вокруг лагуги непрерывно будет раздаваться кудахтанье.

Вскоре к Тюрзену явился секретарь консула с просьбой либо перенести птичник в другое место, либо продать участок обеспокоенному соседу. Да-да, Тюрзен не прочь сторговаться с покупателем — и при этих словах он заломил такую цену, за которую можно было приобрести чуть ли не всю громадную территорию дачной усадьбы консула. Секретарь ушел, шипя от возмущения. В два-три дня между владениями графа Нос де Сопля и консула Майора вырос высокий изгородный забор, за ним было резервировано место для живой изгороди — цветочный аромат должен будет заглушить невидимую за двойной оградой графскую халупу с ее невыносимым куриным духом.

По сему случаю Тюрзен приобрел на барахолке целый воз про-

худившихся автопокрышек, старых галош, негодных резиновых труб, продавленных от долгого лежания перин и затем нанял старика, подрядившегося за лат в день поддерживать в буржуйке вечный огонь, сжигая на нем всю эту рухлядь. Ужасный смрад окутал консульскую виллу. Напрасно полномочный представитель господина Майора предлагал Тюрзену тройную плату — тот запрашивал десятикратную и в знак своей неуступчивости велел доставить на пожарище еще один воз резиновых отходов.

Полагая, что на упрямац должны произвести неотразимое впечатление высокий чин и благорасположение магната, Майор пригласил Тюрзена в свою городскую контору; другой начинающий торговец был бы премного польщен и благодарен и расшибся бы в лепешку, чтобы угодить консулу, но этот вежливо объяснил гонцу, что и у него, Мартина Тюрзена, в городе есть свое бюро, куда господин Майор может явиться в любое удобное для него время. Консул пришел в ярость, бесстыдство голодранца вывело его из себя, и он приказал собрать детальные сведения о кредиторах и держателях векселей и долговых расписок этого Тюрзена, однако таковых не оказалось. Тогда он решил использовать все свое влияние, чтобы предупредить и припугнуть клиентов Никелевого Мартина и как можно шире распустить слух о его неподобающем поведении. Так они и боролись, каждый своими средствами: великий консул распространял дурную славу, ничтожный Тюрзен — вонючий дым.

Однажды два старых школьных приятеля — Тюрзен и Душелис — случайно столкнулись в ресторане, бывшем местом встреч людей делового мира. Каждый пришел сюда по собственной надобности — первый для заключения очередной сделки, а второй в порядке очередного обозрения питейных заведений. Близился конец рабочего дня, и они позвонили в библиотеку и попросили Эпалта, трудившегося как раз в утреннюю смену, но он не подошел к телефону. Эпалт последний раз виделся с Душелисом у того на свадьбе. Неприязнь и подозрение, которые питал к нему Душелис, бесследно прошли, и все же прежнее, довольно жесткое соперничество заставляло предполагать, что впредь дружеские отношения между ними вряд ли будут возможны. Эпалта неприятно задевал и отечески-покровительственный тон, каким победитель и отныне богатый человек разговаривал с бедным и проигравшим. К тому же часы пробили полчетвертого — время, когда Николина возвращается домой.

Тюрзен прочно восседал на стуле, широкий, плотный, коренастый, и только глубоко вдавленные в мякоть щек синие круги под глазами свидетельствовали о том, что со здоровьем у него не все в порядке. Но достаточно было взглянуть в его живые глаза, подметить самодовольную складку вокруг тонких губ, чтобы убедиться — для беспокойства нет оснований. В очертаниях когда-то угрюмо сжатого рта человека-фанатика действительно есть что-то новое; прежняя горькая усмешка все чаще уступает место лукавой ухмылке, а в глазах нет-нет да и полыхнет искорка смеха.

«Ну, дружище, — начал Тюрзен, — беспокойная выдалась зимушка. Давай-ка, Душелис, расскажи, где бывал, что видел, ты больше моего поведаль».

«Гм. Да что там. Жить можно, и весь сказ. Скуповаты Сургениеки, это точно; вот авто обещали, а когда будет, неизвестно, после дождика в четверг. Старик-то вроде согласен на всё, а старуха — у ней приходится каждый лат выдирать как зубным экстрактором. Но попомни мое слово: как только тещины акции упадут, мои сразу поднимутся».

«И долго ты намерен работать у тестя? Я бы на твоём месте открыл свое дело».

«Хлопотно. Все это, знаешь, не так просто».

«А будет на привязи — просто? Кто знает, как все обернется, когда банк унаследует Висвальд?»

«Он меня терпеть не может, что верно, то верно. Но неужто против сестры поперет? Ты, Мартин, конечно, шуруешь будь здоров. Майору врезал под дых, но консул-то каков — раскинул шупальца, всюду у него акции, пай здесь, пай там, везде голос имеет. Стоило ли бузить, заедаться с ним? Мог ведь жить припеваючи, пивка попиваючи, шницельком закусывая, денег у тебя надолго хватит...»

«Будь их в десять раз больше, мне все равно мало. У меня денег будет столько, сколько я захочу».

«Хе-хе, смотри, придется тебе стать Синею Бородой, Ландрю или переженить на себе половину рижских богатых невест».

«С невестами спешить не будем. У меня другие планы. Ты думаешь, я долго буду суетиться с земельными участками? Как бы не так. Дай только сколотить начальный капитал. С твоими связями, с твоим кредитом я бы такую бурную деятельность развил, что вся Рига ахнула бы».

«Эх, Мартин, всю жизнь биться как рыба об лед — большого ума не надо. Я другого хочу, жизнью надо наслаждаться».

«О твоих парижских похождениях легенды ходят».

«Скоро и о рижских заговорах».

«О рижских? Ты что, и здесь решил...»

«... завести парижские нравы? — закончил Душелис. — Да уж... Ты любишь свою жену?» — внезапно спросил он.

«Жену? Я об этом как-то не задумывался. Мы с Карлиной прекрасная пара. По правде говоря, я и не ожидал, что мы с ней споемся».

«Она тебе слишком легко досталась. Без борьбы».

«Это не имеет значения. Что достается с трудом, то больше ценишь».

«Всему свой предел, — задумчиво произнес Душелис, — и усилиям, и цене».

«Скажи мне, что с Павлом? Почему он остался у разбитого корыта, наш-то мудрец и провидец?»

«Да теоретик он».

«Теоретик? Вряд ли. Сколько помнится, он действовал очень практично. И строил планы отнюдь не на песке».

«На всякого мудреца довольно простоты».

«Нет, сдается мне, причина глубже. Когда мы с ним в последний раз виделись, он моментами начинал читать проповеди что твой пастор».

«Идеалистом заделался, наверно».

«В его-то годы?»

«Накатит — и станешь идеалистом, когда меньше всего этого ждешь».

Душелис заказал уйму еды и питья горы, но Тюрзен заторопился, опасаясь, что платить по счету придется пополам. Ресторанные утехи деятельному Никелевому Мартину не по вкусу. Оставшись в одиночестве, Душелис долго ублажал зрение и нюх, наслаждаясь видом и запахом отменных блюд, а затем методично, не спеша, систематически, как настоящий ученый, принялся снимать пробу и смаковать каждое кушанье.

Хотя умеренность в еде, конечно, добродетель, Обжорство почитается за доблесть. Твердит рассудок: «В меру!» — Сердце: «Вдоволь!», Ведь только раз живем на белом свете!

Эрик Адамсон

Ему казалось всё, когда столы пустели, —
Однажды будет пир горой.

Вилис Цедринь

Душелис переменился самым замечательным образом — сделался представительным и статным. Незнакомцу трудно было бы теперь определить его возраст. Торс по-прежнему покоился на удивительно тонких и длинных ножках, штанины брюк все так же развевались при ходьбе, как на ветру, но туловище раздалось вширь, самым широким в обхвате оно было над пупком, где выпирал своего рода конус. Донельзя распухшее лицо приобрело странный розовато-серый, нездоровый оттенок. Шея тоже раздулась; вообще голова, шея и верхняя часть туловища напоминали толстую снежную бабу и никак не вязались с остальной фигурой, ниже пояса. Буфетчик за стойкой, видевший всегда только бюст господина Душелиса, вряд ли опознал бы его в полный рост — вместительный бокал на тонкой ножке. Ходил теперь Душелис неверной походкой, на полусогнутых.

Одеваться он стал изысканно и элегантно: безупречного покроя костюм из самого дорогого английского материала — последний крик моды, котелок, новенькие, с иголочки, цвета яичного желтка перчатки свиной кожи, непрременный зонтик с толстой, шишковатой камышовой рукоятью. На галстук необыкновенной расцветки или на пластроне — крупная розовая жемчужина. И, конечно, золотые часы — плоские, как медаль, — награда за достаток, как он в шутку выражался. В первой половине дня Душелис, по английскому образцу, носил визитку с очень светлыми брюками и белыми гетрами, а подчас смело надевал цилиндр, как бы вызываяще это ни выглядело в толпе котелков и шляп. Однажды на ипподроме его видели даже в сером цилиндре дерби с перекинутым через плечо светлой кожи футляром для бинокля, будто только что с экрана сошел. И повадки у него были не те, что раньше; ни следа от сгибающегося в угодливом поклоне, покорного Дрыгалки, который сновал неприметной тенью, выполняя приказы Гризли. Теперь это был господин с головы до пят, хозяин.

Бог знает, где он усвоил эту полную сдержанного достоинства манеру общения со старшими по должности, замашки члена тайной гильдии, где равные среди равных понимают друг друга с полуслова, по кивку и намеку, и еще это вежливое, но требующее немедленного и безоговорочного послушания отношение к подчиненным. Никто лучше него не умел ладить с машинистками; они никак не могли уразуметь, донимает ли он их вопросами или просто развлекает болтовней, подозревает ли в чем или сулит повышение. В вечном страхе за свое положение, привыкшие угождать малейшему капризу начальства, они улыбались, краснели и бросались выполнять его желанья, и не только на службе, они были предупредительны с ним даже там и тогда, где и когда в этом не было никакой необходимости. Но совершенно неподражаемым было обращение Душелиса с официантами.

Все свое свободное время он проводил в кабаках, ресторанах, барах и прочих увеселительных заведениях, выкраивая для этого полчаса или часик-другой, пусть и в самый разгар рабочего дня. Он обзавелся прекрасными помощниками и секретарем и приходил на работу от случая к случаю, шалая-валяй, скорее шалая, чем валяй, в спешке подписывал бумаги, подбадривал бухгалтеров и устраивал маленькую пытку машинисткам. Дома его можно было застать лишь спозаранку и, если повезет, на каком-нибудь семейном торжестве.

Ресторанной обслуге он сумел внушить уважительное и почти-тельное к себе отношение. Даже совершенно незнакомого, только что поступившего на работу официанта он очаровывал и покорял в одно мгновение. С особой фамильярностью, почти интимно, величал он этих людей Бегунчиками и Попрыгунчиками, не забывал освещать об их домашних делах, о получивших образование сыновьях или замужних дочерях, но именно эта дружеская нота, куда ярче, чем нагличанье золотой молодежи или высокомерие плутократа, обозначала всю глубину той пропасти, что отделяет господина от слуги. Он отнюдь не давал чаевые без счету; официанты презирают посетителей, которые швыряют деньгами, они считают их осто-лопами и радостно перемигиваются, когда те фанфаронами wpływают в кабак. При появлении же Душелиса каблук щелкали сами собой, а головы склонялись в учтивом поклоне. Подавальщики наперегонки состязались перед ним в ловкости и расторопности, движения их сразу обретали некую плавность, а спины — гибкость. Заблуждаются те, кто думает, что услужливость официанта можно купить за деньги. Настоящий официант прислуживает настоящему барину.

Когда Душелис напивался — а это, за редким исключением, случалось всегда — и не мог больше ни стоять на ногах, ни ворочать языком, официанты сбегались к нему и, тихо шушукаясь, заботливо, как пчелы матку, уводили или на руках уносили в кабинет, либо, если дело происходило в шинке, — в контору, и там укладывали на лежанку и укрывали чем-нибудь. Любой из них не задумываясь одалживал ему деньги или вещи, что и сколько ни попросит. Душелис, как бы он ни был пьян, никогда не ошибался, проверяя и оплачивая счет. Он словно по нити угадывал количество осушенных им пивных кружек, выпитых рюмок коньяка или водки со всеми добавками и «разбавителями», помнил каждую соляную палочку, каждый сырок «мертвый палец», которыми закусывал, и фужер сельтерской или клюквенного морса, которыми запивал. Душелис не позволял себя обсчитывать, — это сидело в нем еще с голодных студенческих времен, когда он был вынужден с пунктуальностью токсиколога и изобретательностью алхимика манипулировать сантимами или копейками. Иногда, правда, отваливал от своих щедрот чаевые, если уж заблагорассудится. Счет сличал не трясущимися руками, а с добродушной улыбкой, как бы шутки ради или из спортивного интереса, просто-лишний раз убедиться, что пары алкоголя, самые что ни на есть густые, затуманить его мозг не в состоянии. И официанты его любили и побаивались одновременно.

Но кому же понравится есть и пить в одиночестве. У Душелиса была своя компания, свои собутыльники. Они никогда не договаривались о встречах заранее, не посылали приглашений, но безошибочная интуиция сводила их там, где им больше всего недоставало друг друга. В любое время дня в кабаках сидят завсегдатаи. В утренний час там хоронятся опохмеляющиеся чиновники, удравшие

или отпросившиеся на секундочку со службы; дрожа от страха, они судорожно принимают свою дозу, скорей-скорей, только бы не попасться на глаза начальству — заведующему отделом или кому повыше. Но как расцветают их лица при виде такого же, как они, партизана. Сияя от счастья, спешно перебираются в один из тех многочисленных кабачков Старой Риги, где за незаметным, неразличимым для постороннего человека входом скрываются огромные закопченные табачным дымом катакомбы, темные лабиринты, ниши, кабинеты с множеством дверей и боковых выходов, все эти закоулки словно нарочно созданы для таких вот беглых чиновников или улучивших вольную минутку подкаблучников. После половины четвертого значные места заполняются холостяками, устроившимися на хорошие должности с приличным жалованьем, что дает им возможность обедать в ресторане, а не в столовой. Нередко, составив квартет, они просиживают за столиком до самого закрытия, чтобы потом перекочевать в ночной бар, закрытый клуб в корпорантском доме или другое увеселительное заведение. К семи-восьми вечера собираются приезжие из села — уладив свои дела в городе, они с легким сердцем приступают к изучению столичных достопримечательностей. Около половины десятого заявляют критики, сбжавшие с последней части концерта, а к одиннадцати — театральный народ, публика и деятели искусств, среди которых композиторы и прочие музыканты, а оркестранты особенно, в явном перевесе. Уж не знаю почему Бахус набирает отборных гвардейцев из числа служителей этой музыки.

Среди всей шатии-братии пьяниц и выпивох у Душелиса было великое множество знакомых. Ведь он посещал отнюдь не только знаменитые рестораны в центре города, но едва ли не все кабаки и пивнушки на форштадтах и окраинах; и в них тоже каждое время суток отмечено своей метой и имеет свою публику, но разобраться в этом способен только знаток, равный Душелису, который посвятил сему делу жизнь и здоровье и вложил в него всю душу.

Где бы он ни появлялся, метрдотели, управляющие, бардамы, официанты, прислуга и одетые в форму мальчики на посылках почтительно его приветствовали и величали не иначе, как господином Душелисом. Не было для Душелиса большей радости, чем привести в кабак кого-нибудь из знакомых скромников, для которых такой поход если и не в новинку, то уж точно событие, и продемонстрировать, что тут все его знают, уважают и обращаются к нему по фамилии. В одном кабачке при появлении Душелиса трио музыкантов неизменно обрывало игру на полуктаке и исполняло в его честь Ракоци-марш. Надо было видеть при этом его увлажнившиеся глаза. Они светились восторгом: здесь он был у себя дома, эти люди были ему преданы до гроба.

Разумеется, за такое обхождение господин хороший и отблагодарить сумеет . . .

Душелис не был обыкновенным пьяницей, он знал толк и в еде и в питье. Облазив все углы и закоулки, досконально изучив всё, на чем специализировались рижские рестораны, он с полным основанием мог утверждать, что гурману есть где покушать не только в Мекке всех чревоугодников Париже, но и в нашей старой, доброй Риге. Поварской гений воплощается отнюдь не только в дорогих и сложных кушаньях; простота — венец кулинарии, как и любого искусства. Душелису доставляло огромное удовольствие водить с собой и, разумеется, кормить и поить тоже, какого-нибудь случайно встре-

ченного приятеля, профана, и втихомолку наслаждаться его безграничным удивлением.

Что ж там о еде. Взять, к примеру, «мертвый палец». Обыкновенный сушеный творожный сырок. Но доводилось ли вам есть по всем правилам высушенный на ветру и начиненный тмином «палец», который покрывается при этом синими прожилочками, твердеет, как кость, и становится таким острым, что дерет горло. Кое-кто из рижан, может быть, и отведал этих удивительных сырков, гостей на Видземской возвышенности, на бабушкином хуторе, где возле клетки, в чудном таком ящичке с круглыми дырочками в стенках, зреют они под свежим ветром холмов, — но Душелис объяснит вам, как попробовать это лакомство, не выезжая из Риги.

И горчица. Разве в Риге бывает хорошая горчица? Разумеется, горчица парижская, нежнее оливкового масла, ласковее поцелуя податливой любовницы, намазываемая на бутерброд, как густой мед, доступна только в кабачках Монмартра; точно так же излюбленную английскими моряками чудовищную горечь, дьявольское снадобье, к которому только притронься кончиком языка — рот и горло обожжет так, как будто туда загрузили целый совок пылающих угольев, вряд ли вы найдете где-нибудь, кроме портовых забегаловок на побережье Северного моря. Но у нас есть своя собственная горчица. Правильного состава и консистенции, она заставляет вас прослезиться, при этом взгляд остается незамутненным, в голове проясняется и аппетит разгорается до такой степени, что в нынешние времена всеобщего упадка его можно удовлетворить только в Латвии, стране неограниченных возможностей для обжорства. Не берите нашу горчицу с собой за рубеж: с голоду помрете.

Одной горчицею сыт не будешь, и неужели вы всерьез полагаете, что любой кабатчик умеет варить раков и в правильном соотношении украшать их укропом и добавлять прочий гарнир? Или вы думаете, что копченый окунь будет хорош и тогда, если в костер из ольховых дров, в дыму которого его готовят, ненароком попадет хотя бы одна-единственная сосновая лучина? Лишь в одном задвинском кабачке подавали скопченное по всем стародавним латышским рецептам земгальское свиное рыльце и бесподобную колбасу, до того твердую и черную от копчения, что ею можно было стучать об стол, как дубиной, и ее качество так и определялось по звуку, как у серебра. Может быть, вы ни разу не пробовали копченое филе косули — волокнистую, твердую мышцу из спины самца? Правильно приготовленное, темно-фиолетовое, оно годами может стоять у вас на книжной полке, пока не задубеет, как дедов ремень, которым вас иногда пороли в детстве; если вы захотите не только нюхать, но и испробовать это филе, его надо поперечно нарезать бритвенно-острым ножом на тонкие, как бумага, ломтики — они сами тают во рту. Но, может быть, вам не по вкусу соленое и твердокопченое? Извольте — вот слегка подкопченная кабанья ляжка. Велике нарезать ее на дрожащие, как мотылек, кусочки, они прильнут к гортани, словно живописный алый лепесток пиона.

Душелису были ведомы укромные места, где еще умели жарить леща с озера Буртниеку, которого любил отведать сам шведский король. Он знал поваров, владевших искусством приготовления язей и умеющих подать по всем правилам проворного ловца бабочек хариуса, эта рыба в нежности и хрупкости превосходит орхидею и еще бóльшая недотрога, чем сама мимоза, она теряет свой вкус уже через час после того, как ее вытащили из воды. Он был знаком

с людьми, которые могли сварить забытый ныне суп из пескарей, объединение для настоящих гурманов.

Где-то на берегу Даугавы был ничем не примечательный второсортный рестораник. Старый седой повар уже четыре десятилетия подряд готовил там великолепнейшую русскую солянку, слава о которой разнеслась во все пределы еще до мировой войны; приезжие по торговым делам купцы, московские, нижегородские, рязанские, никогда не забывали здесь отобедать. В одном кавказском погребеке весь из себя черный и высохший как сморчок эмигрант-грузин жарил несравненный шашлык, который он поливал самым злым и красным соусом из паприки и посыпал отборным острейшим луком. Другой ресторатор, бывший жокей, стюарт и кок, готовил самые вкусные на свете татарские хлебцы. Но этим он занимался только в конторе и лишь для самых дорогих гостей, так как, разбогатев, ограничивался наблюдением за своим рестораном. Когда вы ели эти хлебцы, вам казалось, что старый жокей, подобно гунским всадникам, высиживал под седлом сырое воловье мясо, пока оно не сделалось таким мягким, как суп-пюре из шпината.

Душелис знал, где можно получить — разумеется, в сезон и по предварительному заказу — сказочных лиелвардских улиток, единственных съедобных моллюсков в нашей стране, они напоминают тягучие кусочки резины, отчего их трудно разжевать, и обладают нежно-соленым вкусом; и еще легендарную кишку вальдшнепа — бутерброд с содержимым вальдшнеповых кишок когда-то был излюбленным лакомством немецких баронов, а латышские крестьяне, держась за животы, насмехались над такую едой.

Если повар настоящий художник, он умеет блеснуть и совершенно заурядным кушаньем. Один из центральных ресторанов славился бефстрогановым — от перца еще долго ныли десны и слегка горело во рту. Этот замечательный бефстроганов шел под картофельный гарнир фри на жиру, ни в чем не уступавший знаменитому бельгийскому народному блюду «pommes frites». Специальностью другого ресторана были особые, завидно переперченные, толстые бледно-красные жареные колбаски, обладавшие настолько крепким колбасным духом, что можно сказать — кто не едал их, тот вообще не имеет представления о том, что такое была, есть и будет настоящая колбаса. В небольшом заведении у рынка варили щи — пальчики оближешь; капусту, нашинкованную тонкими, как елочный дождик, нитями, перед тем как класть в чугунок, особым образом обжаривали и посыпали мелко накрошенным лучком. . . . Только представишь себе ни на что не похожий кисло-кисловато-резкий вкус этого хлеба — и слюнки текут.

Не рассказать ли мне еще о тушеных почках, битках из легких, печеночных паштетах, бараньих ребрышках со сладкой приправой из риса с изюмом? А может, о супе из потрохов, о строчках, лисичках, соусе из белых грибов? Довольно! Упомяну еще только одно блюдо: в богемном кабачке «Скрипучее перо» подавался горох, черный горох со шпиком! Одному Богу известно, где брал владелец заведения этот горох, крупный, как бобы, какие поленья подкладывал в очаг, в какой посуде держал, как ворожил над соусом, но кто не пробовал гороха со шпиком в кабачке «Скрипучее перо», тот не бывал на седьмом небе!

Все эти и тьмы других кушаний и закусок, которым несть числа в нашем старинном и славном городе, Душелис смешивал и сортиро-

вал, дополнял и преображал, к каждому блюду тщательно и со знанием дела подбирая свой напиток.

Его фантазия казалась беспредельной, вариации бесконечными, но у него был свой стиль, как у всякого художника. Начинал он с кружечки пива. Правда, наше пиво не пенится так густо и вязко, как чешское пльзеньское, на стойкую пену которого можно опустить пфенниг и он не утонет, не обладает медово-сладким вкусом, как кассельское или мюнхенское темное, от литровой кружки которого ни за какие коврижки невозможно оторваться, пока не осушил ее до дна, до последней капельки, — но повод ли это не ставить ни в грош наше светло-желтое, название которого заставляет вспомнить мятежного вагнеровского героя, взобравшегося на Венерину гору?*

Выпив кружечку, Душелис иногда еще комбинировал светлое пиво с темным и портером, но обычно тотчас переходил к рябиновке и принимался за холодные закуски — копчености, рыбу, сыры. Каждый кусочек он запивал чем-нибудь иным. Непривычный человек устал бы и не дойдя до горячих блюд. Но ведь тут все только и начиналось. Как бы исчерпав свою фантазию, Душелис созывал самых опытных официантов, управляющих, совещался, выслушивал советы и потом выбирал нечто совсем из другой оперы, такую странную и поразительную комбинацию, что у всех отвисала челюсть. Лакеи с загадочным видом непрерывно вились вокруг его столика, будто в индийском танце богов, покачиваясь, несли на вытянутых руках подносы, на которых громоздились тарелки мал-мала меньше; вдруг в каком-то углу вспыхивали, словно блуждающие огоньки, голубые язычки пламени, — там Душелис обугливал на спиртовке копченую гусиную грудку или жарил что-нибудь из специй. Часто он требовал исходные продукты и самолично замешивал на оливковом масле салаты, шпажкой проверял, хорошо ли прожарилось мясное блюдо, с кровью ли оно, в зависимости от того, что было заказано, и отсылал на кухню — переделать или приготовить заново.

А как умел он потчевать своих гостей, чтобы елось и пилось в охотку, подбадривать притомившихся и понуждать отнекивающихся! Как умел он подать и предложить кушанье, как аппетитно разделявал карпа, поливая предназначенный гостю кусок густым светлым соусом и орошал желтыми слезами лимона. Отказаться было невозможно. Такое и в голову прийти не могло. Потчваемый все ел и ел, пока кусок в горло уже не лез. В нужный момент Душелис освежал едока ядерной водочной настоечкой или едкой перцовкою, и тот снова ел и пил до беспамятства. Тут наступал черед деликатесов — Аллажский тминный ликер. Заграничные напитки и кушанья Душелис недолюбливал; ни за что на свете не променял бы полынную водку на английскую горькую, миноги на макрель или маринованного боровичка на трюфель. И подобно тому, как подлинный художник и мастер, высвободившись из пут дилетантизма, ограничивает себя как в смысле формы, так и содержания, Душелис лепил свое рижское, латышское гурманство исключительно из доморощенного сырья, чем и гордился. Только ради того, чтобы угодить друзьям, он иногда выставлял что-нибудь иностранное, чаще всего старый добрый английский пунш, дюжинами выжимал лимоны и жег на спирту над огромной чашею с напитком пиленый сахар, в шипенье голубоватого пламени с бульканьем падали вниз коричневые капли.

* Имеется в виду рижский пивзавод «Тангейзер». — Прим. пер.

Душелис заметно пьянел уже от двух-трех кружек пива или рюмок крепкого, но потом невероятно много и долго мог есть и пить, совершенно не утомляясь. Перепивал и превосходил в обжорстве всех и последний оставался в сознании. Но в конце концов и его доконает. Покинув сморенных и храпящих за столом или в кабинете друзей, он тяжело поднимался с места и, качаясь, добредал до буфетной стойки — протрезвиться. Освежался он, как правило, грогом, черным бальзамом и даже чесночной водкой, которую в ряде питейных заведений придерживали специально для него. Так он опять пьянел и вновь протрезвлялся, хмелел и тут же опохмелялся, прояснял мозги и упивался снова, пока в какой-то момент, сделавшись ужасающе грозен, зычным голосом не требовал пива. Для официантов это был сигнал к отбою. Душелис и начинал и заканчивал пивом. Теперь он едва держался на ногах и лыка не вязал. Окаменело и застыло лицо, запухли глаза, и только губы жили своей отдельной, самостоятельной жизнью, корчились и кривились, то растягивались, словно в усмешке, то складывались в огромную мясистую трубочку или жадно, как щупальца полипа, обхватывали края пивной кружки. За последней кружкой он с точностью до сантиметра проверял огромный счет, и, подписав его, падал на руки верных официантов.

*

Отношения Душелиса с женой иначе как странными нельзя было назвать. Претерпев бесконечные унижения и добившись своего, добившись, что капризная, избалованная Гризли перед лицом Господа и людей клятвенно обещала любить и уважать только его, Дрыгалку, он в мгновение ока превратился из раба в хозяина и до глубины души поразил этой метаморфозой всех, кто надеялся увидеть его под башмаком у жены. В действительности это была не любовь, а война безумно оскорбленного самолюбия, которую Душелис вел, будучи ухажером и женихом. Одержав победу, он получил удовлетворение и мог теперь следовать своим путем. Ему предоставили великолепную должность, с блистательными перспективами, разве что птичьего молока не хватало. Послужив честолюбиво, он избрал своим сюзереном Бахуса; человека хватает только на одну пламенную страсть; Венера не имела над Душелисом никакой власти.

Жену он не любил. Чем соблазнительней и прелестней она становилась, тем большее отвращение он к ней испытывал. Внешне, однако, он был с нею вежлив и предупредителен, чертовски вежлив и адски предупредителен. Всегда дарил цветы, отмечал семейные праздники, но в его повадках было что-то наглое, холодное, формально-равнодушное и даже презрительно-насмешливое. Часто за весь день жена слышала от него только «доброе утро» и «спокойной ночи», на ее вопросы отвечал любезно, но с телеграфной краткостью. Являясь домой, непременно целовал жену, однако с тем же безразличием, с каким прохожий обнажает голову при виде чьей-то похоронной процессии. Что бы у него ни просили, он отделялся пустыми обещаниями, в чем бы его ни упрекали, отнекивался. Из кабаков он иногда названивал домой, как и положено добропорядочному мужу, и если спрашивали, когда явится, неизменно отвечивал: сию минуту, но продолжал пировать до утра. Спрашивали: где был? — Гулял. — Почему так долго? — Задержался. — Он утверждал, что не пьет, и божился, что абсолютно трезв, даже если держался за стены и косяки и источал амбре, что твой пивной бочонок. Гризли

терпела. Иногда терпение лопалось, и она ругалась, взбрыкивала, закатывала скандалы, даже отвешивала мужу оплеухи. Но странный душевный покой, однажды снизошедший на Душелиса, ничто не могло нарушить. Скучая он смотрел сквозь нее как в пустоту, ни слезы, ни проклятия, ни просьбы его не задевали, и высокомерная Гризли унижалась до мольбы. Жаловаться родителям, трубить на весь свет о своих бедах и невзгодах ей гордость не позволяла.

В гневе и досаде Гризли ухватила за соломинку — развод. Молода, красива, куча друзей, неужели так и гнить всю жизнь при Душелисе, смешно! На него она смотрела с чувством горечи и не более. Но Душелис и слышать не хотел о разводе. Слишком настрадался в годы жениховства, слишком много вытерпел унижений. К Гризли он был привязан узами почти такими же прочными, как любовь. В сражениях за руку Гризли, сделавшихся целью его жизни, Душелис растратил весь свой пыл и энергию и, одержав победу, хотя и пиррову победу, надломился, исчерпал жизнетворную силу. Медленное сладкое мщение, роль господина и повелителя и утешающего обжорства и пьянства — вот и все, что ему оставалось, то была последняя ниточка, связывающая его с жизнью.

Душелис не любил женщин, более того, избегал их. Но видя, что жена не сомневается в его супружеской верности, заставил себя завести любовницу. В самом выборе было заключено некое жало. Он нашел служанку из какого-то кабака, сходство которой с Гризли бросалось в глаза — та же фигура и даже в чертах лица есть что-то общее. Только эта женщина была глупа, жирна, бестолкова, без малейших признаков элегантности. Он снял для нее прекрасную квартиру и жил с нею, тем самым оплевывая все лучшее, что было в его жене, — ее деятельный, живой ум, ее вкус и элегантность. Он тщательно скрывал свою любовницу, но не так уж, чтобы ее совсем нельзя было обнаружить, и в этом заключалась сатанинская часть его изощренной мести.

Гризли, взволнованная неясными слухами, умоляла хотя бы раз сказать правду и во всем признаться; Душелис, подняв кверху два пальца, свидетельствовал, что невиновен, как новорожденный кролик, а когда доказательств набиралось столько, что отрицаться уже было невозможно, он уходил в себя — зевал и отмалчивался.

Наконец Гризли не выдержала. Не прошло и полугода после свадьбы, как она убежала к родителям, и произошло это за два дня до большого бала сотрудников банка Сургениека.

15

И грань я проведу:
Что ненавижу, что люблю.
Вероника Стрелерте

В тот же вечер, когда Гризельда собралась бежать от мужа к родителям, Ималин-гуталин зашел в кабинет к Николине, бухнулся в кресло и молча стал наблюдать за нею. Николина работала с бумагами.

«Ну, — сказала она, выдержав долгую паузу, — как в школе?»

«Хреново, — мрачно ответил Имперский Маг. — Так хреново, что для спасения нужны сильнодействующие средства».

«По-моему, самый простой выход — засучить рукава и приняться за учебу».

«В школе мне больше не житье. Поздно».

«Что же делать?»

«Надо подумать».

«Только не натворите опять каких-нибудь глупостей».

«Глупостей, глупостей. Что же я такого натворил?»

«Вот, к примеру, в прошлом году хотели подкупить учителя математики».

«Это пугало огородное? Погодите, я еще доберусь до него, дайте срок».

«Имант, Имант. Если вы такие разговоры ведете, то ступайте лучше к себе».

«Ступайте . . . В целом доме поговорить не с кем. Отец вечно занят. Мать заседает в дамских комитетах. Братан в «Кубезелии». Гризли у Душелиса. Даже Дагне и та где-то бегаёт, днем все по портникам да косметичкам, а вечером одному Богу известно, где. А Шетуринь, видно, решил разбогатеть, нахватал уроков и на меня ноль внимания, фунт презрения, а еще называется — при должности. Да ну, Господь с ним. Меня больше ничто не спасет».

Николина сочувственно поглядела на Имперского Мага.

«Ах, Имик, беднячекка, все его бросили, все покинули. Но взрослому-то парню не пристало хныкать. Другим куда труднее приходится . . .»

«Это вам, что ли? Пальцем в небо! Этой зимой у вас не жизнь, а малина. Вы нынче в моде. Все за вами ухлестывают. Пользуйтесь конъюнктурой».

Николина густо покраснела, но не смогла спрятать довольную улыбку.

«Так уж прямо и ухлестывают».

«Я же не слепой. Братан как штык заявляется домой к вашему уходу. А Шетуринь? Вы думаете, я не знаю, почему он вдруг стал жадным до денег?»

«Не мелите чепухи, Имант».

«А Эпалт, — продолжал Имка, — вообще сдурел. Я-то раньше думал, что он отличный парень, а оказалось — баран, как и все. В настоящей дружбе ничего не смыслит, заячья душонка. Конечно, если поднести ему на блюдецке с голубой каемочкой — он хватит и айда, и спасибо не скажет. Фраер, одно слово».

Николина слушала молча, но со вниманием.

«Ходит за вами по пятам, хлыщ этакий. Мы его выследили будь здоров. Вы замечали наверное: на совершенно пустынной улице он вдруг вырастает перед вашим носом, как из-под земли?»

«Да, — невольно вырвалось у Николины, — как это у него получается?»

«Хитер, змей. Спрячется в какой-нибудь парадной у вас на пути и подглядывает, ждет, пока не появитесь. Адское терпенье надо иметь — все время зырить в щелку, чтобы не упустить объект из виду. Зато потом раз, два, три — латышам привет! В другой раз зайдет в телефонную будку и притворяется, будто звонит. С улицы человека узнать трудно, а из будки все как на ладони, только дверь закрывается с грохотом, поэтому надо пропустить вас вперед, чтобы невзначай на шум не обернулись. А еще башня, вы же знаете, у вас во дворе дом с башней?»

«Да, это винтовая лестница».

«Там он часто заседает. С верхнего окна можно заглянуть в вашу комнату . . .»

«Боже праведный!» — воскликнула Николина, схватившись за голову.

«Не бойтесь, ничего особенного не увидишь. На ночь вы всегда задерживаете занавески, а днем как следует не разглядишь, стекла отражают».

«Постойте, значит, вы тоже подглядывали?»

«Я только хотел проверить, что это он так усиленно высматривает. В сочельник он торчал там до полуночи, верно на вашу елочку тарасился, мощное привидение, правда?»

«А вы сами зачем слонялись по улицам в праздничный вечер?»

«Какой там праздник — пшик один. Обычно у нас Гризли всё устраивает, так она за границей была, а Дагне с мамашей уехали в Качкары . . .»

«Могли бы ко мне зайти . . .»

«Неудобно как-то, ни с того, ни с сего. Да и господину Эпалту перебегать дорогу не хотелось».

Николина задумалась. И впрямь, этот Эпалт — какой гусь, просто обманщик. Всех перехитрит. А она-то верила, что попадаетея ему на пути случайно, не совсем, конечно, верила, но все же.

«Где он работает?» — спросила она.

«В библиотеке, в Старом городе».

Значит, в другой стороне, совсем не там, где банк Сургениека. Что ж, довольно лестное постоянство. Но именно потому, что он так настойчив, приятно его помучить. А башня! Встревоженная Николина перебрала в памяти все свои ежедневные домашние дела. Кажется, ничего такого, за что пришлось бы краснеть. Сочельник? Это, пожалуй, трогательно. Чудной Эпалт, все у него шиворот-навыворот, не так, как у людей. Речь странная, о поведении и говорить нечего. Подчас думаешь, а не подлец ли он, вот как в тот раз, в этом самом кабинете, когда она впервые услышала его разглагольствования. А что за цветы он ей послал? Обыкновенный шиповник. Разве прилично посылать даме такие цветы? Скуповат, наверное. А письма! Мой Бог, уж эти его письма. Можно подумать, что их сочиняет сам безумный мавр Зебгугу. Больше всего раздражает этот насмешливый, высокомерный тон — называет ее принцессой, приписывает ей разные великосветские манеры и изображает рабскую покорность. К чему эти насмешки, он ведь знает, что она живет в бедности? Или это тоже шутка, а может быть, своего рода способ угодить ей? Все возможно. Веди себя Эпалт по-человечески, был бы вполне симпатичный мальчик.

Шетуринь, пожалуй, самый порядочный, самый немудреный и самый душевный из них. Первым его побуждением было отдать ей все, что ему принадлежит. Не Бог ведь что, разумеется, но зато от чистого сердца. Жаль, что он такой простодушный и трусоватый, ни солидности, ни мужественной внешности, и язык плохо подвешен. Одевается не то чтобы старомодно или чересчур скромно, но все на нем болтается, мешковато лежит. И танцует как медведь. Зато на него можно положиться, как на собственную мать.

А Висвальд, красавчик Висвальд, прославленный Принц. Ах, у него есть всё, чего так не хватает Эпалту и чего у Шетуриня сроду не бывало, всё, что должно быть в красивом мужчине. Но только он ненадежен . . . привык, что любая его прихоть мгновенно исполняется. Больно шустрый и нетерпеливый. Одному Богу известно, что скрывается за этой блестящей внешностью и бойкостью. А если

сверкающий сосуд однажды разобьется — и ничего нет, одни осколки, — порежешься в кровь.

Так она размышляла, сравнивая их между собой, всех троих. Шетуринь вроде лопухой таксы, которая внимает каждому жесту хозяйки, трется у ног и лижет руки. Погладишь, потреплешь по шерстке, а надоест — вытолкаешь вон. Висвальд — великолепный гибкий леопард, приятно было бы вывести его на прочном поводке на прогулку по рижским улицам, все сидрабонянки умрут от зависти . . . и Ириса тоже. Но это опасный зверь, такого не приручишь, рано или поздно разорвет в клочья хозяйку. Эпалт, хотя и мужчина, а похож на каракатицу, не знаешь, как к нему подступиться, где ноги, а где голова; но когда его нет рядом, скучно делается, что ни говори, а развлечь умеет как никто.

Действительно, она в моде. Даже консул Майор, после того как поговорил с нею на Гризлиной свадьбе, уже дважды предлагал ей место с более высоким жалованьем в своей конторе. Надо бы воспользоваться конъюнктурой, как говорит Имант.

Имперский Маг угрюмо следил за тем, как Николина, забывшись, улыбается про себя. Мага терзали сомнения — не оказал ли он своими открытиями услугу Эпалту, вместо того чтобы врезать ему по первое число.

«Вы пойдете на банковский бал?» — спросил он, прерывая молчание.

«Как не пойти».

«Ну тогда держитесь».

«И вы держитесь».

«Я вообще туда не пойду».

«Что? На наш вечер? Там же будут все ваши домашние».

«Да, дом опустеет, а я останусь его сторожить».

«Вас что, наказали?» — спросила Николина мягко.

«Нет».

«Так в чем же дело? Придете, значит».

Она принялась за работу, но Имант не уходил — что-то его мучило.

Он прошелся по комнате, полистал папки с делами, потрогал словари.

«Мадемуазель Николина!»

«Да?»

«Вы думаете, я плохой?»

«Нет. Но вы распустились и к тому же большой лодырь. Отец будет очень огорчен, узнав, что сына оставляют на второй год».

«Вы думаете, это надо поломать?»

«Второгодничество? Конечно. Если еще можно».

«Можно-то многое».

«Так о чем грустить?»

Имант долго бродил по кабинету, не отвечая.

«Мадемуазель Николина!»

«Ну?»

«Мне с вами нужно о многом поговорить».

«Только не сейчас».

«Вот видите. И у вас для меня нет времени», — с горечью проговорил Имант.

«Имант, милый, вы же видите, я занята. Скоро придет господин директор, а ничего еще не сделано».

«Вижу, вижу», — вздохнул гроссмейстер Ордена пауков и тяжелой, раздумчивой поступью направился к дверям.

Что у мальчишки на уме? — подумала Николина. — Неужто опять

нахватался глупостей. — Она уже готова была окликнуть его, чтобы расспросить, в чем дело, но — работы выше головы. Николина махнула рукой и заложила в каретку чистый лист бумаги.

Маэстро! Пес издох!
Мирдза Бендрупе

Вечером в канун бала, час был уже довольно поздний, портной принес Эпалту долгожданный фрак. Да, это вам не костюм напрокат, совсем другое дело. Этот фрак представлял собой целый волшебный механизм, наподобие знаменитых пражских часов, показывающих не только время суток, но и дни недели, месяцы, годы, коловращение светил и смену знаков зодиака. Бессчетное число исследований, наблюдений и выводов было воплощено в сем предмете одежды. Каждая пуговица, каждый шов свидетельствовали о ворохах специальных журналов, «мэгэзинов», наставлений по бонтону, которые пролистал Эпалт, и английских и американских фильмах из жизни высшего света, которые он просмотрел. Знаток магических иероглифов, выводимых портновской иглой, сразу распознал бы в Эпалтовом фраке отблеск тщательности, до мельчайших нюансов продуманных вечерних туалетов экстравагантного рантье Адольфа Менжу, консервативного джентльмена Клайва Брука, бизнесмена Кларка Гейбла, афериста Вильяма Пауэлла и баловня судьбы, юнца-аристократа Монтгомери. Больше месяца Эпалт рассуждал, сочинял, показывал, объяснял, рисовал, изображал, заставлял сметывать, приметывать и перешивать, кроить, выкраивать и перекраивать, забирать длину, собирать складки и убирать ширину — и довел своего портного, тихого седого старичка, до крайней степени отчаяния.

Надев фрак, Эпалт долго стоял перед треснувшим зеркалом. Сработано на славу, хоть выкальвай мастеру глаза, как ослепили пражского часовщика, чтобы он не смог повторить свое чудо.

Мастер, стоя возле дверей, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он впервые был у Эпалта дома, и удивлению его не было границ — бедная обстановка этой комнатенки никак не взалась с чрезмерными, изощренными требованиями, которые предъявлял хозяин к портновскому искусству.

«Ну так вот, мастер Канидзе, — сказал Златоуст, — в конце концов вы действительно сшили костюм, именуемый фраком. Таких во всей Риге и семи не наберется. Плечи не слишком выпирают. Воротник посажен достаточно низко. Отвороты образуют красивый овал, открывая широкую белую грудь; вы ведь знаете, любезный, что наши портные привыкли считать фрак двубортным костюмом и шьют его так, чтобы он и впрямь застегивался в два ряда, а лацканы у них длинные, как платки. Пуговицы, конечно, твердые. Скажите, дорогой мастер, где наши портные берут странные, круглые, обтянутые шелком деревянные пуговицы, которые они пришивают к своим фракам? Белый жилет очень короток; это стройнит».

Он раскинул руки, но фрак по-прежнему сидел как влитой.

«Прекрасно! А брюки! Н-да, брюк нет... Вот, — он слегка пригнулся, и на штанинах пошли поперечные складки. — Беда всех рижских портных. Чего-чего, а брюк в Риге пока нет».

Мастер Канидзе развел руками, непонятно было, однако, что означает этот жест: «Ваша правда, господин хороший, что поделаешь», или: «Ну, скажите на милость, разве он не сумасшедший?»

Эпалт отпустил швеца, приколот к лацкану белую гвоздику и

в последний раз посмотрелся в зеркало. Еще часок протянуть, и на выход: если хочешь быть замеченным, являйся последним. Походкой франта он прошелся в легких, блестящих лаковых туфлях по обшарпанному и потрескавшемуся полу, мурлыча мотивчик танго и выделывая замысловатые па. Отлично! Настроение превосходное. Голова ясная. Он в своей лучшей форме. Форме рекордсмена.

Незадолго до полуночи, как в свое время великий франт Бруммель на английских королевских пирах, Эпалт объявился среди веселящихся сотрудников банковского дома «Сургениек и С^с», возникнув на пороге зала внезапным видением. Правда, эффект был далеко не тот, что у легендарного предшественника: знакомые чиновники приветствовали его возгласами: «Здоров, старина! Где пропал, малый?»; приятели, помахав рукой, исчезали в бурлящем водовороте, устремленном в одну сторону — туда, где возвышался над толпой крутой затылок самого Сургениека. Банковские служащие, подобно планетам, кометам и вселенской мелочевке — метеорам, роились вокруг генерального директора, своего солнца, своей матки. Банкир, обойдя с супругой и свитой высших чиновников все столы, где продавались лотерейные билеты, цветы, крошон, карнавальные маски и прочая мишура, и всюду оставив по нескольку десятилатовых купюр, угомонился в дальнем углу, это место тотчас было обвешено широкой магической дугой: сотрудники приближались на цыпочках к незримой черте, с угодливой улыбкой скользили, извиваясь, по касательной, и фалды взятых напрокат фраков тихо трепыхались, как крылья козодоев в полете.

Эпалт вынырнул из толчеи и, встав в сторонке, сунув руки в карманы, искоса поглядывал на фрачные дружины, заполнявшие просторное помещение.

— Бедные клиенты проката! У некоторых фрак на вырост, словно предусмотрительная мать купила его для сынишки года на три-четыре вперед; иной, наоборот, как вымахавший подросток, которому малы одежды, выступает длинноногим журавлем. Эти воскресные денди цепляют на шею готовые галстуки; у одного галстук набок съехал, у другого оторваны напроць и сиротливо поблескивают крючки и застёжки; обуты щеголи в надраенные хромовые ботинки, ну, действительно, кто же станет ради одного вечера покупать лаковые туфли?

А вот счастливые обладатели собственных фраков, интересно — что за птицы? Мужчинам постарше вечерний туалет достался, видимо, по наследству, от вереницы предков: брючины дудочкой, вроде флейты Фридриха Великого, фалды такие короткие, что не развеваются при поклоне, а смешно оттопыриваются; семейные реликвии так пропитаны нафталином и трачены молью, что самый древний рабочий костюм выглядит свежее и лучше, но фрак тем не менее прибывает в конкуренции будничную одежду, как промотавшийся дряхлый маркиз благодаря звучному титулу дает сто очков вперед рюмяным и элегантным бюргерским сыновьям. Следующее сословие — чины всевозможных организаций, вынужденные по долгу службы часто облачаться в это коварное платье; исхитрившись, они выпустили рукава до середины большого пальца, чтобы пореже менять манжеты и сорочки. На протертой спинке видны очертания буквы — отпечаток помочей. А что новенькие, с иголочки, фракки? Счастливец со своей обновой просто купается в модерне: плечи подняты так высоко, что напоминают крылья сидящего орла, который вот-вот взлетит в поднебесье, и улетел бы, не удерживай его у

Земли невероятно длинные, едва ли не по самый каблук, фалды. Эпалт ударил себя в грудь: э-эх, своим фраком, как средневековый воин бараньей головой, он протаранит стену Николининых поклонников и, пройдя через зияющее отверстие, окажется в цитадели.

Но где же она сама? Николина сидела в отдалении рядом с незнакомыми ему банковскими служащими и все тем же Шетуринем. Охваченный восторгом и упоением, гувернер в немыслимо просторном фраке парил, как летучая мышь. Эпалт принялся сверлить Николину взглядом. Почувствовав устремленный на нее взгляд, она обернулась и кивнула. Кипела музыка. Эпалт стал протискиваться между столиками и чужими спинами, поближе к Николине, но его опередил некто стройный, ловкий и тоже в черном, обладатель одного из семи настоящих фраков во всей Риге, — Принц Висвальд заключил Николину в объятия, и как тогда, в день свадьбы Гризельды, было нестерпимо больно смотреть на эту томную парочку. У Эпалта внезапно упало настроение. Он повернулся, собираясь отправиться в буфет, чтобы вытравить и дезинфицировать какой-нибудь терпкой жидкостью неприятную занозу в душе, пока она не разбередила старые, как язвы, раны. Зазевался, недоглядел — и его перехватила Дагне.

Что за ужас, что за каторга танцевать с дамой, с которой ты месяцами обучался на курсах! Плотно сжав губы, Эпалт мрачно выписывал и вырисовывал на паркете проклятые петли и вензеля, кружил, дергал и швырял тучную Дагне с отчаянной удалью, зло, решительно и даже грубо. А она расплывалась в улыбке, наивно радуясь прилежности партнера и собственной гибкости, и ее воздушное, в сборку, платье благодаря заученным приемам танца развевалось и колыхалось в точном соответствии с принятыми правилами.

Прошло не меньше часа, пока Эпалту удалось обрести свободу. Перемены ради размял ноги в паре с миловидной банковской барышней, сначала одной, потом другой, третьей; кажется, ничего, получается совсем неплохо. Но его подстерегал капкан. В темном углу сидела дама, чье необыкновенное, как бы застывшее лицо чем-то заинтересовало Эпалта, он пригласил ее. Дама встала со стула и оказалась на полголовы выше кавалера; не говоря ни слова, она стиснула его в железных объятиях, всосала в себя, как осьминог или морская лилия, и, брутально вторгшись в толпу танцующих, закружила в диком необузданном вихре, не имевшем ничего общего в гремевшей музыкой. Напрасно Эпалт пытался сопротивляться, богатырше такты были ничем, она внимала иным ритмам, то ли исходящим из глубины ее существа, то ли подслушанным в неземных сферах, — Бог знает, но когда он, в оттоптаных туфлях, весь помятый и замученный, вырвался из могучих клещей, ему бросилось в глаза, что мужчины обходят стороной тот страшный угол, где подстерегает очередную жертву угрюмая валькирия, и обращаются в паническое бегство, когда с объявлением белого танца она выползает из своего убежища, как сверкающий фосфорическими очами дракон — из пещеры, готовая пуститься в адский перепляс.

Кружась по залу и танцуя, Эпалт ни на минуту не упускал из поля зрения Николину. Как сказал один шутник, фиолетовый цвет — поэзия пожилых женщин. Однако Николина в своем платье необыкновенно очаровательна, этот старческий тон своей солидностью как нельзя лучше оттеняет нежность и красоту молодой кожи, прохладный липовый цвет волос и прелесть бледного серьезного личика. Вокруг нее, как всегда, толкуются кавалеры. При первых же тактах

музыки ее непременно ангажирует кто-нибудь из соседей по столу или какой-нибудь фрукт, нетерпеливо слоняющийся поблизости в ожидании своего часа, а еще — и это повторялось слишком часто — Принц Висвальд, самый занятой мужчина на сегодняшнем балу.

Но Эпалт, прошедший в школе танцев основательную боевую подготовку по части захвата дам, не унывал. Он занял позицию в дверях, ведущих в смежную комнату, откуда хорошо был виден дирижер оркестра. Едва тот взмахнул дирижерской палочкой, как Эпалт бросился к Николине, к столику он подлетел с первым вздохом скрипки. Впервые в жизни он ощутил под рукой эту четкую гибкую талию, коснулся щекой льняных волос. Выполняя повороты, они соприкасались бедрами, задевали друг друга коленками, на какую-то долю секунды касались друг друга грудью, и он всякий раз вздрагивал. От волнения пересохло в горле. Он танцевал хорошо, но с нагугой, вымучивая фигуры, боясь ошибиться, нетвердо стоя на ногах, — казалось, он дрожит всем телом. Хотелось многое ей сказать, но за все время танца и полслова не вымолвил — в следующий раз соберется с духом.

У Эпалта не было места за столиком, и он бродил вокруг как неприкаянный. Не так уж много народу явилось на бал, чтобы не заметить эту галерочную публику, и вскоре кавалеры, которые присаживались на минуту-другую к столикам и вновь уходили в болтанку, были у всех на виду. Спрукулис, из той же братии, поздоровавшись с супругой шефа, раскланявшись с женами наиболее важных чиновников и поочередно приложившись к ручке, бесследно исчез. Ведь Ирисы тут не было, а человек рассудительный и экономный, если ему хочется выпить, может сделать это в другое время и в другом месте.

В отношениях между Сургениеками и Майорами с некоторых пор наступило охлаждение. Ириса больше не ходила к Дагне. Тем удивительнее, что на сургениекский вечер явился секретарь Майора. Потанцевав немного, причем дважды с Николиной, он испарился так же загадочно, как и возник на балу. — Шпион, — перешептывались служащие.

Дагне, сидя за семейным столом, несколько раз делала Эпалту знаки, пыталась перехватить его в вестибюлях, но ему удавалось ускользать от нее. В конце концов она обиделась и больше к нему не приближалась. Эпалту было все равно, он никого, кроме Николины, не видел и не замечал, она заполнила собой все его существо, он буквально заболел ею.

Держа на прицеле Николинин столик, Эпалт наблюдал за тем, что там происходит: Шетуринь пригласил Николину на танец и изготавился, тут рысьей походкой к нему подкрался Принц; слегка развязные движения, вальяжные жесты — подвыпил; оттирает Шетурина от Николины и берет ее за талию, чтобы вести в круг танцующих; безапельляционное, барское обхождение злит Николину, она увертывается от Висвальда и машет рукой Шетуриню, который стоит в сторонке съезжившись; однако Висвальд настырен; Николина, покрывшись румянцем, что-то резкое бросает ему в лицо, сидящие за соседними столиками вскидывают головы и прислушиваются; Висвальд круто поворачивается и уходит — прочь от нее и с бала вон. Непонятно: когда он миновал Эпалта, в глазах у него мелькнула лукавая искорка, с чего бы это?

Шепоток, ухмылки, усмешки порхают по-над столиками; чиновники и чиновницы наклоняются друг к другу, сближаются лбами, вытя-

гивают шею, шушукаются и бормочут; наконец-то что-то случилось, без сенсации и бал не бал, а так, гренадер без усов.

Эпалт потирает руки; лиха беда начало. Смелость города берет! Заглядывает в буфетную, чтобы заказать рому. Со странным ощущением держит в руках фужер: ведь он, Эпалт, неизменно презирал тех, кто пропускал стаканчик перед тем, как взять быка за рога. Сам никогда к такому методу не прибегал. Почти уже отставил желтый терпкий напиток, но нервы на взводе, надо унять возбуждение. Ух как польхнуло, забористое зелье, любимый дринк пиратов и флибустьеров, ошпарил-таки глотку. Еще разок! Он раскраснелся. Не выдавайте меня, призраки бесшабашных каперов и контрабандистов, фантомы рыцарей без страха и упрека Фрэнсиса Дрейка, сэра Генри Моргана, палубного денди и джентльмена Джека Калико, будьте со мной! Еще разок! Я, кажется, согрелся, по членам пробегает сладкая дрожь, свет ярче, кругом мельтешенье и суэта, губы сами растягиваются в улыбке. Э-гей, не так страшен черт, как его малюют! Где Николина?

Они танцуют. Теперь Эпалт и думать забыл о шагах и фигурах, он сам по себе, ноги сами по себе, плывет, качаясь на волнах, словно пристегнутый к звукам музыки, и чертовски здорово получается, легко, свободно — Николина, а она ведь танцует прекрасно, и та загорается и входит в раж. Их провожают завистливыми взглядами, вот мелькнуло искаженное ревностью лицо Дагне. К дьяволу всех! Эпалт упивается ярким светом и блеском, он на седьмом небе.

«П'слушайте, — обращается он к Николине с фамильярностью старого друга — и пугается собственной удали. — Кончится музыка, давайте спустимся в бар и тяпнем по коктейлю «Kiss me quick» или «Tu es mon âme».

«Нет. Это не для меня».

«Что? Абсолютная трезвенница?»

«Почему же. Но я пришла на вечер, а не в бар».

«А знаете, в который раз вы мне отказываете?»

«Я не считала». — Николина смеется.

«Я тоже, а не то давно бы уже сидел в психбольнице на Аптекарской. — Спустя мгновение: — Некоторые женщины напоминают мне бабочек, цветы, нежных птичек, а знаете, кого напоминаете вы?»

«Ну?»

«Скалу. Скалу Стабурагс. Своим нечеловеческим постоянством. Вот другие девушки такие милые, ласковые, уступчивые, а вы почему не такая? Вы просто маленькое чудовище».

«Чудовище?» — переспросила она ошеломленно.

«Да, и, к сожалению, в таком обличье, что никто и не догадывается. Вы только кажетесь нежной, а на самом деле вы ужасно черствая, представляетесь мягкой и ласковой, а на самом деле бессердечная и строптивая. И людей вы считаете чурками».

«Гм».

Но Эпалт завелся, хмель делал свое дело, его несло:

«Вы заносчивая гордычка. Для вас нет большего удовольствия, чем выместить себе дорогу телами поверженных поклонников и шагать по трупам в сопровождении свиты дураков и шутов, потеряв-

ших из-за вас последние остатки разума, и еще усмехаться при этом холодной и презрительной усмешкой принцессы-недотроги».

Николина ничего не ответила. Хватая ртом воздух, Эпалт продолжал вести ее в танце. Шетуринь стоял мрачнее тучи. Музыка, медленно угасая, сошла на нет. Они расстались.

Эпалт спустился в бар и заказал себе коктейль «Tu es mon âme». Шумело в ушах. Он чувствовал себя Наполеоном при Ватерлоо, только что пославшим в бой последние резервы, свою отборную гвардию. Вверху гремел зал — там она умирает, но не сдается. Боже, помоги мне!

К нему подошла девушка, продававшая шары, цветы и разные пустячки. Эпалту бросился в глаза маленький фарфоровый сеттер, вислоухий, жалобно наморщивший лобик. Почти автоматически купил он эту фигурку и поставил перед собой. Какое совершенство — выражение полнейшего идиотизма! Коль скоро он, Эпалт, уже побывал в роли безумного мавра Зебгугу, с тем большим правом он станет этим псом. Вытащил записную книжку, оторвал полоску бумаги. Ему еще никогда не удавалось написать сразу набело ни письма, ни стихотворной строчки. Над «Челобитной мавритенки» промучился целые сутки, а сейчас — словно списывал со шпаргалки и строчил, строчил самозабвенно, изгаляясь над самим собой и кусая губы:

Собачий паспорт

(ввиду отсутствия карманов носится под брюхом, как компресс)

Я очень сердитый, кусачий пес —
Облезлая шкура, подбитый нос,
Мучитель дворняжек и детворы,
Один, без хозяина, без конуры.
На всех я кидаюсь и лаю: «гав-гав»,
И бедным прохожим цепляюсь в рукав.
Но кто б догадался, что пес шелудивый
На деле ученый и очень сметливый.
Ведь я обучен добро стеречь
И понимаю людскую речь,
И ласково руку хозяйке лижу,
На лапах передних и задних хожу,
И лапу принцессе могу подавать,
И вежливо лаять и танцевать.
Как верно собака умеет служить,
Но тяжко собаке на улице жить,
И хочется ласки, любви и огня,
И хочется, чтобы не гнали меня,
И потому я на всех рычу,
Что без хозяйки жить не хочу!

Обернул записку вокруг собачьего туловища, подозвал официанта и велел отнести Николине. Основательно поднабравшись, он через какое-то время вновь отправился в зал. — Была не была. — Отвесил Николине картинный поклон.

Они танцевали молча. Эпалту просто ничего в голову не лезло. В конце концов, решил он, пусть думает что хочет. Колыхаясь и вертясь, буду нем как рыба язык. Вдруг Николина заговорила, в голосе и следа былой суровости нет:

«Вам никогда не приходило в голову, что мое поведение — это просто самозащита? Что вы знаете обо мне и о моей жизни? Может, когда-то я была совсем другой, но обстоятельства сделали меня недоверчивой?»

Эпалт был опьянен грустными словами Николины. Он не передвигался, а плыл в четвертом измерении. Ее соседи по столу, за исключением верного гувернера, разошлись. Николина спросила у Эпалта:

«Вы один или с компанией?»

«Один».

«Присоединяйтесь к нам».

И тут произошло нечто совершенно необъяснимое, просто слабоемие какое-то. То ли по роковому изъяну характера, то ли от хмельного фанфаронства — сам он впоследствии не мог понять, в чем причина, — но его внезапно обуяло дурацкое желание отомстить Николине за все прошлые обиды, отыграться. Он ответил отказом. Пробормотал что-то невнятное и удалился.

Шатаясь, прошел в бар, рухнул на сиденье и обхватил голову руками. Что же он, разума лишился? Впервые после стольких мук и усилий ему удалось приблизиться к Николине, впервые она сама позвала его, вот желанный миг, исполнение чаяний и надежд, вот долгожданная возможность явить во всем блеске свое искусство оратора, все свое остроумие, умение тонко льстить, ворковать как горлинка, вибрировать голосом, окрашивая его грудной тембр в самые задушевные оттенки, ах, что говорить — всё так и шло в руки, и этот драгоценный миг, эти полчаса, за которые он отдал бы теперь полжизни, — отринуты им и загублены навечно. Он больше сам себя не понимал.

Разве Николина — заслуживающий мщения враг, которого надо побольней уязвить? Разве сердце девушки завоевывают непреклонной гордыней или высокомерием? Против женщин с острым, как лезвие, жалом мужчине подобает сражаться голыми руками. Истекающий кровью, весь израненный, он наконец бережно ловит и разоружает эту маленькую осу, и в том его гордость, его доблесть и счастье.

Щемило сердце. Он мучил себя со сладострастием флагелланта, которому доставляет возбуждение плетка, растревлял рану — после ночи, проведенной в приятной и остроумной беседе, нет, не Шетуринь, а, конечно, он сам, Златоуст, провожает Николину домой, и как знать, как знать, не звучит ли мгlistым утром, на рассвете, на пустынной улице, поцелуй — в опавшие беспомощные губки, трепетный, словно прикосновение к иконе? Ведь ее последние слова были так необычны . . .

Вернуться? Попытаться собрать пролитую воду? Он слез с высокого сиденья за стойкой бара и побрел в зал, бледный, как дитя под-земелья. Николина собиралась домой, Шетуринь стоял у нее под боком.

Заметив Эпалта, она со смешком протянула что-то гувернеру, Цезарь Шетуринь церемонно принял дар, по-восточному прижал к груди, губам и ко лбу — это был Эпалтов пес. Невыразимо грациозная фигурка Николины Буйвид исчезла в гардеробе, домашний учитель в мешковатом фраке с развевающимися фалдами вприпрыжку последовал за нею. Эпалт прислонился к стене. Нет сил.

Играли вальс. Рокоча, катились через огромный зал ритмы. Вращались одинокие пары. Жеванные платья, изнуренные лица, блестящие носики, с которых осыпалась пудра, пол в окурках, продыленный воздух . . . Молочный свет ярких ламп больно резал усталые глаза. Вальс — валялся, ленивый лежебока, под утро из вальса весь дух вышел, поблек полуночный вальс, полный страсти и огня. Внезапно Эпалт вскинул голову: банальный мотив обрел странное, величествен-

ное и роковое звучание. Басы всхлипывали, будто их бросили на произвол судьбы, выли фаготы и гобой, криком изболевшейся души скулили, плакали и стонали скрипки. Отдаваясь размашистым и могучим до жути эхом, с губительной безысходностью качались ритмы вальса *de profundis*, каждый новый такт с нарастающей скорбью выплывал в просвет, в ширящуюся и всепоглощающую пустоту. Пространство — качалось. Ужасное чувство охватило Эпалта. Вот она, его жизнь, век его — без Николины, пустой, ненужной, отвратительный, как этот зал; жалость к себе и отчаяние невыносимой тяжестью сдавили грудь, он до хруста в зубах стиснул челюсти, пытаясь сдержать стон. Он сидел, подперев кулаками виски, ничего не видя и не чувствуя, кроме Николины, Николина — светлая, радостная, улыбающаяся, божественная, недосыгаемая; еще миг — и Эпалту показалось, что он сходит с ума.

Он не помнил, как вышел из зала, как оделся. На дворе завывал резкий весенний ветер, шумел холодный секущий дождь. Дождь освежил Эпалта. Пусть хлещут в лицо струи, катятся по щекам студеные капли. Нет, он не плачет. Это всего лишь дождь.

Он шел медленно, словно нехотя, каждый шаг давался ему с трудом. Какая-то сверхъестественная сила, как бы в насмешку над человеком, презревшим гордыню, влекла его на Яковлевскую улицу.

Окончание следует



Эдита Лаулс-Вигнере.
Гобелен

ДНЕВНИК В ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАХ

29 декабря нас пригласили на празднование годовщины Христианского комитета — год просуществовали! Когда мы там сидели (у Капитанчука), позвонил телефон и сообщили, что Кирилла (брат Александра Подрабиника) арестовали. Я опять перебрал и на обратном пути бросился в какую-то драку (решил, что — гебешники, так как рядом стояла черная «Волга»). Меня остановили, сказав, что это — не гебешники. По дороге я сбежал, поехал на ВДНХ, желая зайти в Гнесинское общежитие, но заметил слежку и полез драться. Одного уложил, другой — убежал. Тогда подошел к дверям общежития и стал стучаться. Мне не открыли — была уже ночь. Тут я снова встретил того, который убежал, и опять полез на него. Мимо проходил человек — вмешался. Попросили его быть в качестве свидетеля и пошли в милицию. Я заявил, что этот человек преследует меня от Беляево до ВДНХ, что в драке он мне отбил кусок зуба (действительно, маленький кусочек отломился — хотя и незаметный на вид). Нас посадили в машину и отвезли в мое 58-е отделение милиции. Там я повторил все это, написал жалобу на то, что сотрудник ГБ такой-то преследовал меня весь вечер и отбил ползуба, и ушел. Не знаю, действительно ли было все так, или помещельно спьяну... Придя домой (а меня уже обыскали), я гордо заявил, что впервые в истории подал иск на КГБ. Эта история так и не имела продолжения.

После ареста Кирилла ГБ опять повторило свое предложение, обещая, что если А. Подрабинек согласится уехать, то Кирилла освободят и выпустят вместе с ним. А. Подрабинек ответил, что не может решать за брата, что поступит так, как попросит Кирилл, и что для этого ему необходимо иметь с ним свидание. В свидании ему отказали, из чего было ясно, что Кирилл отказался просить А. Подрабиника об отъезде. После этого — когда все корабли были сожжены — я высказал А. Подрабинку свою точку зрения.

— Что же ты раньше молчал? Мне так не хватало именно твоей поддержки!

Новый год был невеселый. На дворе праздновали гебешники, орали, матерились. Я опять чуть не влез в драку. Ругалась соседка, жалуясь на табачный дым. 1 января вечером мы с Л. Грюнберг уехали в Потьму на очередное свидание — и это были самые светлые для меня дни за эту зиму. Приблизительно через месяц я опять оказался там — провожал на свидание В. Машкову — жену Осипова. Мы с ней нашли общий язык и все время проговорили о вере, о Боге, о России и проч. Она рассказывала о своей судьбе — своих двух сроках (?)... На вахте перед лагерем, дожидаясь, пока выйдет Мария Алексеевна, ведающая свиданиями, — толстая мнительная баба в шинели (В. Машкова рассказывала, с какой страстью она обыскивает), я встретился с начальником отряда, где был Осипов. Услышав эту фамилию, он нахмурился и сказал: к Осипову? Не знаю, не знаю.

Окончание. Нач. см. «Даугава», № 4.

На политзанятия не ходит, участвует в протестах и по отношению к режиму ведет себя, скажем прямо, перпендикулярно. Так что не уверен, что вам предоставят свидание... Свидание все-таки разрешили.

... Несмотря на этот раскол, несмотря на непрерывное преследование со стороны гебешников (машины стояли сначала вдалеке, потом — у самого подъезда, освещая фарами входящих, а после того как А. Подрабинек ушел в узкую щель между прутьями решетки на окне — стали ставить еще одну машину против окна. Всю ночь работал мотор — грелись и время от времени зажигали фары — напоминали о себе). Мы их обсмеивали (они отвечали матерщиной и угрозами, но иногда разговаривали вполне по-человечески) — несмотря на все это, работа комиссии шла полным ходом. Со всех концов Союза звонили, писали, приезжали — люди, подвергаемые принудительному психиатрическому «лечению» за инакомыслие. Каждую среду наш психиатр проводил прием таких «больных» (впрочем, среди них были и настоящие больные), давая объективную экспертизу; один за другим выходили «Информационные бюллетени», росла картотека и архив, многих удалось вывозить из психушек — и они приезжали с благодарностью...

В январе началась кампания соседей против меня: они написали доклад в милицию, что у меня проживают без прописки, устраивают сборища и пр. Точнее, в этом принимали участие только две соседки, обе — члены правления кооператива. Одна из них, которая живет надо мной (И. Ф. Горинштейн. — О. Л.), написала заявление в милицию следующего содержания: в квартире 4 проживает некий Саша из Электростали. Туда ходят десятками люди, курят отравленные сигареты. Дым доходит до нее. Она вдохнула этого дыма и потеряла сознание. Вывихнула ногу и ушибла плечо. «Прошу считать мое заявление конспиративным». Приходил участковый, но А. Подрабинек его не пустил. Я отшил соседок, тогда они стали терроризировать моих родителей, которые живут в том же доме. Д. В. заявил, что в атмосфере травли он жить не может, что не выбирал себе такую

часть, и что я должен считаться с ним, так как живу с ним в одном доме и эту квартиру доставал мне он. Мать неожиданно встала на мою, вернее, на Сашину сторону. Начался семейный скандал. Д. В. сказал, что это на моей совести. По его настоянию я передал все это А. Подрабинек. Он сказал, что скоро уедет. Скандал не прекращался. Я был близок к срыву — и решил уехать на неделю из дому, так как там атмосфера стала невыносимой. Мы поехали с Д. К. в Пер-но. Там мой кризис перевалил через апогей: я пытался покончить с собой. В это время в Москве в мою квартиру ворвалась милиция, всех увели, переписали и А. Подрабинек поставили условие, чтобы он отсюда уехал, так как нарушает паспортный режим, и наложили штраф в 10 рублей. Это было 28 января. На этом закончилась наша совместная жизнь. Когда я вернулся — вызвали меня. Участковый — пожилой мужчина с добродушным деревенским лицом (Гуськов. — О. Л.) говорил журиющим басом: Что это у вас там за организация? Молодежная? — Какая организация? О чем вы?

— Ну, вот этот, у вас жил, как его...

— Ну да, мой друг...

— Ну вот, я и говорю... я ничего про ваши убеждения, нет, — убеждайтесь, пожалуйста, сколько хотите! Но вот без прописки проживать не положено. И сборища устраивать тоже не положено.

— Ну а гости?

— Но ведь не сто человек!

— А сколько не запрещено?

— Ну, четыре, пять...

— А шесть?

— Ну, шесть...

— А семь? — (Пыхтит.)

— Ну только чтоб не проживали.

— А что такое проживать, как это?

— Ну, это когда ночуют.

— А если, скажем, у меня любовница ночует?

— Не более трех суток.

На этом разговор закончился. На меня был наложен штраф в 10 рублей и сделано предупреждение, что при повторном нарушении паспортного режима в моей квартире я буду выселен из Москвы.

Сашины вещи остались у меня. Я

сидел посреди комнаты словно после крушения. Надо было заново собирать разбитую жизнь . . . И я начал будто с нуля: все давалось с трудом, работа не двигалась, от прошедшей жизни осталось множество дел, которые нельзя было закончить сразу. И все же — не сразу и не легко — я вновь восстановил свою жизнь, дав себе зарок не отдавать ее никому, кроме Бога, — хотя бы до тех пор, пока она достаточно не окрепнет.

15 марта состоялся суд над Кириллом. Мы пришли в зал заранее, заняли свои места. Подозрительно было то, что никто не чинил нам препятствий. Это выяснилось вскоре: в зал вошла секретарша и объявила, что дело Кирилла будет слушаться в другом зале. Там у дверей уже стоял миллионер и никого не пускал, говоря, что нет мест. На него стали напирать, требовать, чтобы он открыл дверь, и двоим-троим нашим с боем удалось прорваться туда. Остальные, как всегда, ждали снаружи. Мне дали маленький фотоаппарат, и я, что мог, снимал, но пленки потом, по недоразумению, засветил . . . Потом мы с А. поехали в Москву, не дожидаясь окончания процесса, так как пора было на работу.

В запасе оказалось немного времени — мы зашли в кафе, выпили кофе с булочкой и пошли пешком от Курского вокзала к площади Разгуляй. От предшествующих переживаний, выпитого вина и оттого, что так редко выдавалась возможность пройтись не спеша и без дела, было грустно и празднично.

Вечером, вернувшись домой, я узнал приговор: 2,5 года лагерей . . . Кирилл, по рассказам, держался мужественно. А. Подрабинец, как свидетель по этому делу, произнес блестящую речь. Вот и все, что тут можно было сделать . . . В то время, когда у меня жил А. Подрабинец, я, не имея возможности писать, стал более или менее регулярно заниматься фортепиано. В результате была приготовлена целая программа из восстановленных старых и впервые разуценных пьес. Теперь же я готовился вновь начать работать за письменным столом — а это для меня исключает занятия за инструментом: оба вида труда несовместимы во мне — они относятся к разным пе-

риодам моей жизни, к разным сферам и уровням моей личности. Но жаль было, что все это пропадет, и перед тем как расстаться с инструментом, я устроил большую лекцию-концерт по истории и сущности музыкальных эпох и отдельных композиторов. Позвал всего двоих: Петра Старчика и А. Начал я в 12 дня — потом мы разъехались: нам с А. надо было на работу, а Петру Старчику — в один дом, и вечером опять собрались — присоединилась еще и М. К. Закончил я в 12 часов ночи. Таким образом, я освободился от музыки: она меня, наконец,пустила. А. уехала, а Петр Старчик задержался: мы с ним перепечатавали письмо в защиту арестованного недавно П. Винса.

И еще раз — уже третий в этом году — мне пришлось ездить в Мордовию, провожая Люду Грюнберг. На этот раз я взял с собой маленький фотоаппарат и сделал много интересных снимков — но все они оказались безнадежно плохого качества из-за плохой пленки. После этого туда ездили А. с Верой Серебровой и тоже снимали. Однако их заметили и пленку засветили. В ту поездку мне сделали строжайшее предупреждение, чтобы я больше в поселке Лесном не появлялся, и угрожали — только неизвестно чем. Надеюсь, узнаю в следующую поездку.

После этого я отключил телефон, снял с двери звонок и засел, никуда не выходя и никого не принимая. Я начал изучать антропософию, с которой познакомился через Петра Старчика. Вот как это произошло. Мы и раньше с ним беседовали на духовные темы — и, пожалуй, ни с кем я не находил такого понимания и единомыслия. Он сообщил мне некоторые сведения из антропософии, и я поражаюсь совпадению с ними моих собственных интимнейших наблюдений и выводов. Я знал, что рано или поздно приду к антропософии, но множество пробелов в образовании не давали мне вплотную подойти к ней, отодвигали на неопределенный срок. К тому времени я был уже знаком с «Тайноведением» и «Духоведением» д-ра Штейнера и с двумя его докладами, посвященными России. Встреча уже произошла, я понял, что это — единственная сфера, в

которой я обретаю себя, и именно из-за того значения, которое я придавал дальнейшему углублению в антропософию, я откладывал этот момент на то время, когда смогу посвятить этому все силы. Когда же Петр Старчик прочел моего «Федора Степановича», который сначала долго у него лежал, — как, впрочем, и у всех, кому я его давал, — он сказал, что это прекрасно, что он такого не ожидал и проч. и проч. в самых сильных выражениях. Из разговоров с ним я увидел, что он единственный понял главное в этой книге — и это, что хотя бы один человек понял, — имело для меня большое значение: я не сомневался в значительности замысла «Федора Степановича», но считал, что воплощение решительно не удалось, о чем мне говорили разные люди, совершенно проходя мимо этого главного. И я готов был уже поставить крест на своей литературной карьере, считая, что органически неспособен адекватно передать то, что хочу, и искал других путей для самореализации: близок уже был к тому, чтобы вступить в Хельсинкскую группу, но претила «общественная» деятельность, с которой я тесно соприкоснулся этой зимой. Но то, что кто-то понял, — это решительно меняло дело, и вопрос начинал перестраиваться: а может быть, дело не во мне, а в читающих? Я всегда считал, что дело во мне, и с полной верой принимал критику всех своих прежних опусов. Но тут Петр Старчик бросил на это новый свет. И его понимание шло от антропософии! Может, прочитай он раньше, не было бы многих эксцессов этого года — но, видимо, надо было им произойти... Я уехал от Петра Старчика с целым портфелем книг. Но дела — все важные дела — с какой-то садистской настойчивостью отрывали меня от них, судьба с поразительной хитростью нарушала мое одиночество, и, несмотря на отключенный телефон и дверь, я работал, буквально отбиваясь, продираясь сквозь препятствия. И все же почти два месяца — до 14 мая, когда стало известно, к чему вели все эти помехи, — вырвал для работы.

Петр Старчик отнес мою рукопись к Померанцам, они очень быстро прочли ее и пригласили меня для беседы. Это было очень емкое впечат-

ление. Зинаида Миркина начала с дифирамба, сказала, что она в восторге, что давно такого не читала, что я принес ей огромную радость, и что все недостатки, о которых она скажет, — второстепенны, ничтожны по сравнению с этим впечатлением. Недостатки, на ее взгляд, были таковы: 1. Как могла такая ничтожная причина, как «она не пришла», подчеркнуть все то прекрасное и глубокое, что было до того? 2. Как мог Федор Степанович, сойдя с горы, после высочайшего духовного подъема, — кульминации всей книги, — выматериться, да еще по-пустому? Эти два момента ставят под сомнение подлинность всего предыдущего. А мат, — процитировала она кого-то, — это тройное оскорбление: матери, матери-земли и Богоматери... Все-таки, я думаю, если бы у вас были действительно переживания духовного — вы бы не смогли после этого выматериться, и то, что она не пришла, — не имело бы значения. Я не понимаю, как у вас одно с другим уживается.

Мнение Померанца заключалось в том, что я не мог в своем возрасте пережить то, о чем пишу. Что есть духовный опыт, а есть духовное воображение, которое, например, было развито у Мережковского. По форме же он бы назвал этот роман «гениальным уродом». Я защищался, объяснял то, что вызвало у них недоумение — но они как бы пропускали мои объяснения мимо ушей, продолжая повторять первоначальные мысли. И тут меня осенило: что же я доказываю им? Ведь те места, которые они не могут принять, как раз и направлены против их метода — и объяснить тут ничего нельзя, — и замолчал. Уходил я в раздражении, с решением больше никогда не переступать их порог.

Справедливо критикуя какое-то место в книге (где о буддизме), Померанц употребил термин «гордыня вероисповеданий», не преминув указать, что этот термин придуман им. Возвращаясь от них, я определил для себя их позицию. Его я охарактеризовал как «гордыня личного опыта», а ее — как «гордыня личного переживания», — как раз то, что в основном и преодолевает Федор Степанович, и особенно — в тех местах, которые вызвали их недоуме-

ние. «Надо разделять истину и формы ее переживания и познания», — поучал я их про себя, и много желчи излил на них во внутреннем диалоге. Слава Богу, теперь-то раздражение прошло, и я могу относиться к ним непредвзято. Мне ведь и краем глаза не было тогда заметно, что подобная очевидность этих недостатков свидетельствовала прежде всего об их необыкновенной духовной честности — и это тут было главным... Впрочем, наше знакомство еще только началось... Чтобы дополнить эту тему, приведу другие отзывы.

Лариса Миллер сказала, что слишком много философии — это очень отяжеляет, много повторов, которые можно сократить. Там же, где художественная литература, — словно отдых, много прекрасных мест...

Сергей Бычков сказал, что много очень ценного и актуального для наших дней в богословских рассуждениях. И как досадно, что это разбавлено второсортным избитым сюжетом: он работает в магазине, а сам — философ. Все литературное — слабо. Надо бы выбрать отсюда все богословское и сделать отдельную работу.

Пиамма Гайденко, известный у нас философ, сказала, что не совмещаются литература и философия, что это указывает на мой юный возраст. Но что язык нравится, и дух философствования нравится, так как это личностное философствование. Там же, где — дневник — это типичный юношеский дневник: это я, но это не дух. Я сулит бесконечную глубину, но это — трясина. Я должно быть преодолено.

Анатолий Николаевич (Леонтьев, отец автора. — О. Л.) сказал, что это очень значительно, что он не ожидал, что текст на редкость чистый, и что он претензий не имеет, и что это ему много дало.

Оксана Тимофеевна, как всегда, ничего не сказала, только хмыкнула что-то поощрительное...

Весной (или в конце зимы) пришло неожиданное, ужаснувшее меня известие, что умер отец моей бывшей жены. В конце марта я узнал, что у о. Тавриона обнаружили рак пищевода, что он уже давно ничего не ест, едва на ногах — однако еще

служит. Мучимый все тем же неосуществленным сном и боязнью, что я его больше не увижу, я собрался ехать — уже в третий раз за этот сезон. Билетов на поезд в кассе не было, и я решил, что если не уеду — вернусь домой и откажусь от этой затеи. В последний момент кассирша протянула мне билет. В пустышке меня обокрали, причем взяли не только мои деньги, но и чужие, которые передавали для С. Б., — всего 80 рублей. Паломники стали мне жертвовать. Я отказывался, но они всучивали мне трешки и пятерки почти насильно, говоря, что это для них — испытание, они боятся согрешить. Это был повод разговориться с о. Таврионом. Когда он узнал, что деньги надо было передать С. Б., он сказал мне: держись от него подальше. Когда я сделал вопросительное выражение, он понизил голос с полусушительной таинственностью и сказал: он опасный человек, за ним день и ночь следят... И чуть погодя прибавил: держись подальше от людей... И тут сон отпустил меня: для того он так настойчиво звал к о. Тавриону, чтобы я понял, что о. Таврион мне дать ничего не может.

Мне посчастливилось: я застал живую литургию в православной церкви. У о. Тавриона — и только у него — пережил богослужение в полной мере. Через причастие от него я действительно получил приток духовных сил, которые долго были действительны во мне. После соборования у него я целый год сохранял душевную твердость и ясность. Но вне храма, лично, он мне дать ничего уже не мог. И в храме — этим утром — я причастился у него последний раз. Он дал мне денег (он всем раздавал деньги, даже пьяницам из соседней деревни) и благословил на дорогу. Помедлив немного — может, все же что-то произойдет? — я покинул сию благословенную обитель. И чувствовал — навсегда. Это не было разочарованием в о. Таврионе. Это было освобождением от того во мне, что еще препятствовало духовной свободе. О. Таврион меня отпустил. Не будь этого, я был бы им связан надолго. Последние пути порвались, отчего любовь моя к о. Тавриону лишь обновилась. Освобожденный и, на-

конец, духовно ставший самим собой, я был готов открыть себя для антропософии, которую до тех пор только еще открыл для себя.

Пока я находился там (в пустынке) — начал таять снег. Уехав зимой, вернулся я уже весной. Я вспомнил, что прошлая поездка совпала с наступлением зимы.

По возвращении в Москву я больше никуда не выходил и никого не принимал. Был Великий пост. Я постился — впервые в жизни — и погружался душой в «Пятое евангелие». Наконец-то нашел я свои духовные корни! Но времени для этой работы мне было дано немного. Надвигались события, которые должны были стать кульминацией всего года: суды над Орловым, Гинзбургом, Щаранским, на которых — я чувствовал — должен присутствовать. Кроме того, должна была приехать Люда Грюнберг. 13 мая оказался последним днем моей работы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Выходить из своего затвора я собирался 15 мая. Но 13-го, вынужденно подойдя к телефону, был принужден принять Марину и Сашу Штуко. Мы сидели с Мариной, пили чай. Тут появился А. Подрабинец. Какие-то затруднения, посоветовал почиститься — я пропустил мимо ушей — ведь уже сколько раз так было. На следующий день мы должны были встречать Люду Грюнберг, которая должна была ехать не ко мне, как всегда, а к Гуле. Я на это рассчитывал — ведь только что наладил работу, вырвался из суесть. И вдруг он (Подрабинец) говорит мне совершеннейшую дичь: я должен и ее и всех привести к себе, так как он, мол, не может ехать к Гуле. Мне это показалось дичью, но я решил все выполнить... Потом пришел С. Штуко, как всегда с бутылкой, мы ее выпили и до рассвета говорили — строили планы на лето, решили 1 июня отправиться на наш катамаран. Мне это показалось выходом, я с радостью решил именно так. Поезд я проспал. Позвонил А. Подрабинец, спросил: проспал? — Зайди ко мне, я напро-

тив. (Т. е. в квартире И. Гривиной¹, Новоалексеевская, д. 5 — О. Л.) Я зашел. — На, — говорит, — деньги, езжай на такси к Гуле и вези всех сюда. Тут я стал немножко серьезнее. Приехал — там переполох, смеются, что тоже привез, все возбуждены, ничего мне не объясняют. И только Алла (Хромова) наконец говорит мне: — Дим, Сашку сегодня возьмут. Это точно. Я этому поверил. Мы сели в такси (с заминками) и поехали ко мне. Когда шли от Гули к такси, я стал ахать, говоря, что как нехатаи — как раз все перевез в дом. Алла мне сказала: — Уж во всяком случае у тебя в ближайшее время обска не будет. Тогда я перестал ахать. Приехали, стали готовить запланированное угощение — встреча Люды и проводы А. Подрабинека. Он был (в доме) напротив. Машины стояли еще с утра. Он, в желтой футболке, иногда появлялся в окне, сидел на подоконнике, откинувшись назад, чтобы быть прикрытым шторой, и смотрел вниз, на машину. (Я это видел сверху, куда ходил за тем же.) Мы его ждали на обед ко мне. Он все не шел, наконец раздалась команда: все — в дом напротив. И все взяли кастрюли, миски, бутылки и направились туда (он боялся выходить, думал — возьмут по дороге). У дверей квартиры (И. Гривиной) с утра еще сидел... на ступеньках, читал газету. Час или два еще прошло — а за стол так и не сядились — последние дела. Я занял его место на подоконнике, чтобы не нюхать кобеля (аллергия на шерсть собак и кошек. — О. Л.) — заодно поглядывал вниз. И вот, с высоты 10-го этажа вижу — идет мент в наш подъезд и, проходя мимо машины, кивает тем. Я к телефону — отключен. Говорю об этом. Через некоторое время — звонок в дверь.

— Не открывайте! Саша, поешь! Поешь, ради бога! Ах мы, дураки... Ну ладно, уже поздно. Пусть здесь, пусть здесь... Да поешь ты! — Подносят к лицу тарелку жаркого, он отворачивается, соображает, что еще осталось. Трезвон в дверь уже не-

¹ Ирина Гривина была активным членом Хельсинкской группы. «Голос Америки» как-то передавал ее стихи, посвященные Д. Леонтьеву.

прерывный. Начинают стучать так, что сыплется штукатурка. Шестилетняя Маша говорит: — Надо вызвать милицию! Спорят: открывать — не открывать. Из-за двери кричат: — Будем взламывать! Пошлите за слесарем. Минут 15 продолжался этот непрерывный перезвон: ку-ку-ку-ку-ку-ку — и удары в дверь. Наконец Володя (муж И. Гривиной. — О. Л.) открыл. Ворвалось сразу человек 12. — Почему не открываете милиции? — Злые, грубые. Все кричат что могут: Вы не у себя дома! Ведите себя прилично! Да какая ты милиция — гебешник! Нет, есть участковый. — Вы у меня поговорите! — Кто вам дал право... да как вы смее... вошли в чужой дом — и еще... документы ваши, документы... Я так с вами разговаривать не буду. Следовательно называется, показывает ордер на обыск. — А его? А его мы должны задержать... понимаете, без прописки, то да се — выясним и отпустим. — Ха, верьте им! Саш, да ешь же! — Тут он начинает есть. Торопят, торопят, говорят: там накормят. — При задержании не кормят! Скорее, нечего... — Саш, не обращай внимания, ешь спокойно! Не слушай их! А. Подрабинек, стоя, держа тарелку на весу, ест жаркое... Надевать — не много, он и так почти готов. Он начинает с каждым прощаться. Люда Грюнберг расплакалась. — Саш, с Аллой-то попрощайся!.. — Ну а с тобой, — говорит он мне веселым голосом, — я надолго не прощаюсь. Встретимся в зоне. Я знаю — ты следующий! Остался еще отец. Он смотрел на него усещающим, напряженным взглядом. А. Подрабинек посмотрел тоже — особым взглядом. Несколько мгновений — и не подал руки. И ничего не сказал — как, впрочем, и отец. Его увели. Мы подошли к окну, кто-то крикнул: Саша! Он поднял голову, когда проходил от подъезда к машине, и помахал нам рукой. Машина тронулась. Тут я заметил, что мои — тоже на балконе, и, полагая, что они все поняли, крикнул «обыск» и повертел рукой, как бы набирая номер телефона: мол, позвоните. Мать закивала и пошла к телефону. С уводом А. Подрабиника милиция ушла, гебешников стало меньше. Преиприательства еще не прекратились. Я испытывал постоянное у меня

в подобных случаях чувство: никакой личной ненависти у меня к ним не было. Моя драма с советской властью проходила внутри меня: невозможность примирения (необходимостью примирения («возлюбите врагов»). Так, в непримиренном примирении, с комом в горле, я и жил, готовый в любой момент как полезть драться с ними — так и вести душе-спасительные беседы, способный и к кротости и к строптивости. Здесь все их стыдили, язвили — и я стал думать, как поострее отшить, да все не получалось: издевочки да смефуёчки. Тут вспылил отец А. Подрабиника, словно его прорвало: Вы с кем говорите! Я не позволю тут с собой ерничеством заниматься! Молод еще! — гневно, с чувством непре-рекаемого своего достоинства обратил-ся он к гебешнику и отчитал, как мальчишку. Я, как и все, старался прицепиться к чему-нибудь в них, чтобы возник повод отвести душу. Они игнорировали ядовитые замечания. — «Вырезки из советских газет», — диктовал один другому. — «Антисоветские вырезки из советских газет», — подсказывал я ему. — «Ну почему же обязательно антисоветские? Надо разобратся», — обижался он. Искали небрежно. В это время шел какой-то хоккей, на кото-рый они, видимо, хотели успеть. А мы, как назло, слушали «Голос Аме-рики». — Да перестаньте вы всё ваши голоса слушать! Нашу бы станцию включили! — разозлился один. Я взял у Пинхоса приемник и почти не вы-ключал его до конца обыска, все на-деялся, что передадут про А. Подра-биника, думал, что мои всем раз-звонили. Следовательно переписал всех, находившихся в доме, и преду-предил, что будет всех вызывать, и чтоб приходили сразу, по первому вызову. А. Подрабиника увели в 17 часов, обыск закончился в начале двенадцатого ночи. Я думал, теперь пойдут ко мне, но они ушли. Мы пересекли двор, неся обратно еду и бутылки для прощального обеда. Ну, теперь-то мы выпьем! Отец Под-рабиника и Алла уехали, Люда легла спать, мы выпили с Юрой и Гулей, потом лег спать и я, предваритель-но поднявшись наверх и выяснив, что они так и не поняли, что произо-шло, крика «обыск» не слышали, а мои знаки истолковали как просьбу

мне позвонить, что они и делали — только, конечно, не дозвонились. — Вы разве не видели ищущих людей, я же нарочно раскрыл занавески? — А мы думали, что там гости!

Как выяснилось потом, этим же вечером, ночью и следующим утром было еще пять обысков: у Пинхоса, Татьяны Михайловны, Тани Осиповой, Леонарда, Бахмина. На следующее утро, 15 мая, начинался судебный процесс над Орловым. В ГБ все было продумано до мелочей. Тут я начал понимать логику их действий, почувствовал за ними некий характер, что до этого никак не получалось.

Следующим утром, в понедельник, встретившись по дороге с А., я поехал на суд.

— Как это ни парадоксально, но суд — как бы праздник, — говорил я А. 15 марта по дороге с суда над Кириллом Подрабинеком на работу. В этом был сарказм и доля истины, довольно печальной для нас, истины о существовании нашего отношения друг к другу. И теперь мы, под тем же знаком, ровно два месяца спустя встретились при тех же обстоятельствах. Я, как и тогда, напросился фотографировать, — хоть объективное занятие, — взял аппарат у Иры и сделал десятка полтора кадров без эксцессов, хотя это было запрещено. — Я никогда не попадаю, — самоуверенно говорил я.

Было то же, что и всегда: толпа диссидентов полилась к дверям. Милиция и дружинники — не пускали, некоторых — оттаскивали за руки; люди в штатском сновали повсюду, фотографировали; корреспонденты наставляли свои огромные объективы. На переднем плане — Андрей Дмитриевич, охваченный со всех сторон их руками, и крик толпы: хоть Сахарова пустите, пустите одного Сахарова! Потом скверик перед зданием суда отгородили железной загородкой, и тех, кто за нее вышел, обратно уже не пускали. Те, кто был снаружи, стали приносить и передавать нам хлеб, колбасу, молоко, печенье — подкреплялись. Во вторник мы ходили с Юрой в наше отделение милиции, собрав на всякий случай передачу. Участковый (тот самый, который говорил «убеждайтесь»), сказал нам, что его (то есть А. Подрабинека) сюда и не возили, что это не задержание, а арест,

ему так сразу и сказали, а вызывали его — на случай, если бы им пришлось ломать дверь. Информация была непривычно подробной. И опять мне показалось если не сочувствие, то во всяком случае полное добродушие и отсутствие всякой злобы, тоже — стремление отмежеваться от «них» — мол, я свои обязанности выполняю...

Когда в тот день я лег в постель, вдруг вспомнил, что бегаю, сучусь, а самое главное — не молюсь о Саше. И тут светлая волна подхватила меня, я оказался в мощных светящихся потоках и почувствовал власть передавать свою духовную силу другим. Я представил Сашу в камере, повернулся к нему лицом, и — из груди в грудь — направлял мощные струи, говоря: тебе, для тебя, помоги тебе, Господи, — чувствуя, что бессилею после каждого раза, — и новая волна бралась неизвестно откуда и переходила к нему. Так продолжалось долго — энергия восстанавливалась каждый раз из неведомого источника, наша связь не прерывалась, и хотя трудно было преодолевать изнеможение — я преодолевал, рад пострадать за него. И чувство ровной, светлой любви с тех пор установилось у меня к нему, и это — уверен — зачаток нашей будущей судьбы. Нет, не случайно позвал я его к себе! С этим чувством я и заснул.

На следующий день Юра хотел идти с отцом А. Подрабинека к прокурору для разрешения щекотливого дела: Саша не желал, чтобы отец занимался его делами, и назначил доверенными своих друзей: Юру и Славу Бахмина; прокурор же заявил, что будет иметь дело только с родственниками. Я взялся поехать в Электросталь, чтобы добыть и уговорить Сашинного отца пойти с Юрой к прокурору и его, так сказать, подтвердить. В 9 часов утра я уже был в Электростали, его не застал — он уже поехал в Москву, там все уладилось и без меня. Мне хотелось побольше сделать для Саши — но все было бесполезным, делалось и без меня, я это понимал, но все-таки куда-то бегал, что-то делал: в такой ситуации спокойно не посидишь. Вернувшись, я опять пошел к зданию суда и был там до конца. Когда Ирина (Орлова. — О. Л.) вышла, она

едва могла говорить от волнения: прерывисто, не замечая протянутых к ней со всех сторон микрофонов, рассказывала, как ее за руки заволокли куда-то, насильно раздели догола при четырех мужчинах — обыскивали. Первым в тот день — в среду — вышел из суда сын Орлова Дима — и, потрясенный этим, вообще ничего не мог сказать — только ходил взад-вперед, едва сдерживаясь, не отвечая на вопросы. 10 минут выговорил Андрей Дмитриевич для ее интервью (сзади напирала милиция) — и то прерывали: вы же обещали 10 минут! Все-таки дали. Потом все двинулись в таком порядке: впереди — диссиденты и корреспонденты, в последнем ряду — Ирина Орлова, а за ними — цепь милиционеров, «сдерживающих» наемную «толпу». Я шел между Ириной и ими, ощущая затылком их близость. Я знал, что бить не посмеют, но было приятно и покойно. Две бабы, выпущенные вперед, за цепь милиционеров, кричали: Все врет она, врет! Мы сами видели! Не раздевали ее, врет! Да кому нужна твоя нагота! — и всякую грязь такого рода. Я хотел было ответить, но провокация была налицо. Они кричали без пауз: одна кончала — подхватывала другая — две-три фразы — и кричали только они. Остальные, среди них и просто любопытные, шли молча. В таком порядке дошли до универсама, где стояли автомобили корреспондентов, «представитель посла». Продавщица универсама и любопытные высыпали наружу газет. Реплики: Сахаров? Где? Где? Вон! — Какой противный! Какой-то милиционер подкатывался к молодой продавщице: Хоть я те Сахарова покажу — вон тот, лысый. Когда мы позже с Сахаровым шли по Люберцам, все только о суде и говорили. Мы же с Сахаровым разыскивали некоего Н., задержанного накануне и получившего 15 суток. На всякий случай собрали ему передачу. Сахаров рассказывал мне, как сам он отсиживал 15 суток (его задержали во время суда над Твердохлебовым). После этого я заехал еще к М. П. и лишь поздно ночью, вместе с Людой Грюнберг, мы вернулись домой. Сил у меня никаких не оставалось, но я заставил себя ползти в душ и сменить белье — с вполне осозанным предчувствием,

что это нужно именно сейчас. Из того же предчувствия я и собирался на следующий день: не взял с собой ничего лишнего, но взял ингалятор на случай приступов астмы. И пять рублей, если мне придется через 15 суток добираться до дому.

... Из наших к зданию суда я пошел первым — с бодрым и несколько праздничным настроением. По дороге встретил гебиста, который проводил со мной в военкомате первую беседу. Он улыбнулся и отвел глаза — узнал, что ли? Не было еще ни одного своего, зато они были уже все в сборе, и под их взглядами я прохаживался с каким-то особым удовольствием.

Постепенно собирался народ. Я увидел А., как-то странно одетую: в косыночке и нарумяненную. Подумал, что это неспроста, и не стал подходить. Подошли Сахаровы и направились прямо ко входу. Их остановили. — Я требую, чтобы меня допустили на чтение приговора. Даже в закрытых процессах приговор читается при открытых дверях... Неважно, есть места или нет, можем стоять, приговор читается при открытых дверях; приговор читается при открытых дверях... Отойдите, пожалуйста, назад, сделайте, пожалуйста, два шага назад, — командовал милиционер толпе. Сахаровы продолжали пробиваться вперед, сквозь милиционеров и дружинников. Он начал скандировать: Требую допустить на чтение приговора, требую... приговор читается при открытых дверях... Власти перешли в наступление и стали теснить толпу. Я почему-то всегда оказывался в подобных ситуациях в первом ряду — и даже сейчас, когда все было очевидно автоматическим: от скандирования Сахарова до реплик ментов, от многократного повторения одного и того же, — когда не требовалось никого защищать, — стоял все же за Боннэр, на всякий случай. Страсти накалялись. Его и ее стали оттаскивать за руки — и внезапно раздалась пощечина — ее дала Боннэр. Какому-то милиционеру — так же механически, как Сахаров скандировал — это она делала чуть ли на каждом процессе. Менты стали раскидывать людей, кого-то схватили и поволокли в машину, стоявшую наготове. Когда его туда запихивали, он дрыгал ногами

и руками и кричал безумным голосом: Хелф! Хелф! Я старался не отставать от Сахарова и Боннэр и хоть со своей стороны быть прослойкой между нею и ментами. Кричал при этом что-то насчет обращения с женщинами: «потихе», «обнаглели совсем» и т. д. Но вскоре их оттеснили друг от друга и поодиночке поволокли в машину. Я оказался от них далеко, и решив, что теперь больше от меня ничего не требуется, хотел вернуться в толпу своих. Тут я услышал крик и увидел А. Она прорывалась вперед, ее не пускали. Я подошел выполнять ту же функцию: так сказать, подстраховывать, при этом не только создавая преграду между ментами и ею, но и стараясь ее подтолкнуть обратно, назад. Тут она повторила подвиг Боннэр: дала кому-то пощечину, но, кажется, не совсем удачно — немного не дотянулась. — В машину ее, в машину! — раздался крик, и со всех сторон на нее кинулись мужики. Я стоял как стена, не давая им дотянуться до нее с моей стороны. Ее все-таки потащили. Я подумал, что тут надо ринуться и отбить, что хотя я непосредственных эмоций от всего этого не испытываю, но должен что-то... — И этого берите, — раздался тот же голос. Двое навалились на меня профессионально и повисли, каждый на руке. Я вздохнул с облегчением: вот все и разрешилось само собой, от меня больше ничего не требуется, я, крикнув в толпу: Арманд и Леонтьев, — пошел, куда веля. Несмотря на то, что я несколько не сопротивлялся, они висели на мне, выворачивая руки и бутафорски извиваясь. — Да идите вы спокойно, — что вьетесь, как глисты? — сказал я презрительно. — Иди, иди! — закричали они грозно, подвели к машине и стали запикивать в нее. «15 суток, как и предчувствовал», — подумал я, и мне стало легко и свободно: я ничего не должен, от меня ничего не требуется!

В отделении милиции, куда меня привезли, — том самом, в котором мы накануне с Сахаровым справлялись об Н., уже сидели Сахаровы и тот, который кричал «хелф». Он оказался переводчиком М. И. (корреспондента). Вскоре привели и Алену. У меня не было ничего

лишнего. Только порвал и выбросил в форточку чай-то телефон. Дежурный милиционер равнодушно проследил мой жест. Нас стали переписывать, во время чего мы все вели светскую беседу. Когда Арманд назвала свою фамилию, Сахаров оживился: слышал, слышал, — а потом обратился к милиционеру: А вы знаете, кого вы задержали? А вы знаете, что Ленин шел через всю Москву за гробом Арманд? Милиционер что-то отвечал, что, мол, знает, но не бойко, как школьник на уроке. Стали обыскивать и отбирать все вещи. Боннэр предлагала деньги, чтобы были по выходе, дала 10 рублей Кор-чу (Коротичу). А у меня была пятерка, специально взятая именно на этот случай. Обыскав меня вслед за Коротичем, сняв ремень, отбрав очки, крест, носовой платок, ингалятор (Сахаров тщетно вступался: крест можно! На ингалятор он сказал: это нельзя отбирать. Без него он может задохнуться до смерти! И ингалятор мне вернули). Потом, обшарив все карманы, всего прощупав (первый шмон!), передо мной открыли дверь камеры. Со словами Солженицына: «первая камера — первая любовь» я вошел в нее с давно накопившимся любопытством, оглядел нары, стены, потолок. Но в камере было слишком темно, окно забито фанерным щитом, и я подумал, что это еще не «настоящая» камера. При этой мысли я потерял к ней всякий интерес и стал прислушиваться к тому, что происходит снаружи. Попытался поговорить с ними, но я их слышал, они меня — нет. Вскоре Коротича, а после него — меня повели на составление протокола. Я стал исполнять хорошо мне известную роль. В моем протоколе было записано: способствовал освобождению гражданки Боннэр, оказал неповиновение сотрудникам милиции, отказался подчиниться их требованию проследовать в машину. Прочитав, я не говоря ни слова, перевернул лист и стал писать свои замечания: «Сегодня, 18 мая, я намеревался присутствовать при чтении приговора по делу Орлова, на что имел полное право, гарантированное мне законом. Однако ни я, ни другие желающие — друзья и близкие Орлова — в зал суда допущены не были. Кроме того, сотрудники милиции и дружинники стали

теснить группу желающих попасть в процесс, грубо толкать их, в том числе и женщин. Особенно возмущен грубым поведением сотрудников милиции по отношению к гражданкам Боннэр и Арманд. Во время этого инцидента меня схватили двое дружинников и без предупреждения поволокли в машину, выворачивая мне руки, хотя я не сопротивлялся. Виновым себя не признаю, рассматриваю все происшедшее как провокацию, требую немедленного освобождения, протокол подписывать отказываюсь. Подпись относится к моим замечаниям».

Тот прочел и, не говоря ни слова, отправил меня обратно в камеру. Проходя мимо Андрея Дмитриевича, я сказал ему, в чем обвиняюсь. Он сказал, что будет свидетелем. Потом повели на суд Коротича. Он вернулся очень скоро, я едва добился от него, что ему дали 15 суток. Опять проходя мимо Андрея Дмитриевича, я ему все это передал. Он вскочил, бросился за мной: Я требую, чтобы меня допустили в качестве свидетеля на суд. Я имею право... я требую... Его задержали на лестнице.

В кабинете, куда меня ввели, сидел судья и один мент. — Ну, что произошло? — спросил судья. Я начал рассказывать, как меня не пустили на чтение приговора и т. д. — Вот тут свидетели есть, что вы оказались неповиновение. — Я не знаю этих свидетелей — это те же, кто меня задерживал. Я видел, как они говорили свои фамилии. Я требую, чтобы в качестве свидетеля пригласили Андрея Дмитриевича Сахарова — он там, за дверью. — Какого это Сахарова? Это того самого антисоветчика? — спросил судья. — Да таких к стенке ставить надо! — Я передам эти слова куда надо, они вам даром не сойдут, — шантажнул его холостым патроном. Тут он разошелся: Вы советский хлеб едите, а говном поливаете. Вы набрали вот сюда вот в нос (он показал как) говна — и все через это нюхаете. — Я сказал ему, что я с ним в таком тоне разговаривать не буду. Тут он стал выражаться менее образно — стал читать мне проповедь в духе передовицы «Правды». — Можете не продолжать, — прервал я его, — я все это знаю наизусть. Мне просто стыдно за вас, что вы взрос-

лый человек, а думать сами не научились, ни одной своей мысли не имеете. Вас накрутили, как патефон, — вот вы и играете одну и ту же пластинку. Сами же в это не верите, постыдились бы! Он замолчал и стал писать постановление. Милиционер перегнулся через стол, заглянул в мой раскрытый паспорт (видимо, возраст определял) и молча покачал головой. — 15 суток вам, — закончил судья писать постановление. — И это суд? — спросил я с издевкой. — Да. — Ха! — А надо бы уголовное дело начать за сопротивление, — прокричал он мне вдогонку. Я вышел из кабинета с презрительным лицом. Меня хотели вести обратно в камеру, но кто-то поспешно завернул: нет, не сюда! — и меня вывели на улицу, посадили в машину и повезли в другое отделение милиции. Позднее Арманд рассказывала мне, что этот же судья судил и ее (20 рублей штрафа как женщине). И когда она упомянула обо мне, он проговорил: 15 лет мало вашему Леонтьеву.

В 71-м отделении милиции сидели еще двое задержанных на том же суде — Павлов из Майкопа и еще один. Павлов рассказал, как и он сидел: 15 суток — это трамплин к настоящему сроку. Я у него попросил носовой платок. Потом меня опять обшмонили, ингалятор отобрали, несмотря на мои протесты (понадобится — дадим), сняли шнурки и отравили в камеру предварительно заключенная (КПЗ).

Первая камера — первая любовь! Тут я удовлетворил свое давнее любопытство вполне. На нарах лежали еще двое — тоже «суточники». Один из них — матерый урка с тремя судимостями. Он почти непрерывно говорил, пел, скучал; изредка вскрикивал на все отделение: Бабы! Песню! Блатную! Да погромче! (из соседней камеры доносились женские голоса). Другой все время спал, и лишь когда принесли чай, неизменно говорил: «Давай чаю. Кишки погреть. Чай не пить — какой сила будет? Чай попил — совсем ослаб». Потом пришел третий с допроса — парень лет 18. Он с компанией таких ~~ж~~ взламывал гаражи — «раздевал» и «разувал» автомобили. Познакмившись, я лег на деревянные нары, причем урка постелил мне свой

пиджак — чтоб не жестко было. Вечером дверь камеры приоткрылась, и в нее просунулась голова дежурного — без фуражки, с комическим выражением лица. Он уставился на меня и, улыбаясь, проговорил: Корреспондент? — Я тоже улыбался и молчал. — Нью-Йорк таймс? — Я засмеялся. — Работать будем? Арбайтен? — И несколько раз еще открывал дверь — поговорить, что было очень кстати, так как духота в камере была страшная.

Камерное время тянулось неизменно долго — никогда в жизни не бывало так. Один и тот же час повис в затхлом воздухе: он продолжался и сутки, и следующие — он и до сих пор для меня не кончился.

Не беда, думал я раньше, что не будет бумаги и карандаша, я займусь медитациями и созерцанием. Однако не получалось того, что я хотел: моменты созерцаний — лучшие в моей жизни; здесь же это оказалось мучением. Казалось, пространство камеры ограничивало духовное пространство, давило и не позволяло видеть дальше. Я первый раз столкнулся с тем, что не желал никогда признавать: с принудительным влиянием внешних условий на духовную жизнь, и теперь эту принудительность вынужден был испытать на себе, собственными духовными силами зарабатывать духовную независимость, искупать и оправдывать романтическое утверждение, от которого ни за что не согласился бы отречься: я свободен. Я пытался сопоставить, сравнить два (духовных) пространства: волю и тюрьму. — Но обнаружил, что не могу уже вспомнить духовное ощущение воли: оно рассеялось бесследно, и все пространство охватила тюрьма.

Понятия «тюрьма», «камера» и подобные для меня означают духовную категорию: чистая экзистенция личности, лишенной опор и отражения в чем бы то ни было внешнем: материальном (все отнято), душевном (отсутствие человеческих связей — замена их механическими — субординацией), социальном (потеря всякого статуса), обыденном — (вырванность из привычной жизни). Здесь все «свое» заменено на все «чужое» — или, вернее, «ничье» (казенное). Своим оказывается только дух.

Конечно, и в тюрьме можно установить связи, как это делают урки, которые клещом впииваются в тюремную жизнь. Или — при настоящих сроках. Но я их нарочно не устанавливал — чтобы извлечь из 15 суток максимум и запрещая себе думать о выходе, поддерживал в себе, не упуская ни на минуту, состояние последней готовности — к смерти, что было, впрочем, не трудно, так как на воле я вел себя так же.

И вот такое состояние я и считал высшим и достойнейшим для личности. И внутренне — как я полагал на воле — я в нем и пребывал. Но вот я оказался в нем также и внешне. И теперь с величайшим интересом (это ведь свидетельствовало о мере подлинности моего прежнего, чисто внутреннего опыта, об истинном достоинстве и масштабе всех моих прежних построений) я пытался уловить и сформулировать разницу, которой не должно было быть: между духом и реальностью, и которая если была, то все прежнее было — не дух. — Скорее это внешнее — не реальность, — усмеялся я, и даже для усмешки этой нужно было чуть не физическое усилие, чтобы преодолеть гнет тесного, запертого пространства. — Стены, нары, решетки — как можно принимать всерьез всю эту козность материи, как я могу поддаваться на этот обман, на эту провокацию! И второй раз усмеяться было уже легче — но я своевременно оставил дух иронии, который способен освободить из-под власти чего-то, но препятствует проникновению в существонное (отлепляет от поверхности, но не привязывает к глубине).

Я снова и снова пытался сопоставить тюрьму и волю, которую я раньше сознательно делал тюрьмой, и тут стала выплывать одна особенность. Все, к чему я здесь приходил в своих медитациях, по существу было тем же (или только совпадало?), чего я уже достиг на воле. Это было каким-то безнадежным топтанием на месте: невероятные внутренние усилия, какие на воле и не снились, давали не более того, что мне было открыто раньше, на воле. Мои расчеты на то, что я приобрету здесь что-то новое, рушились. Я приходил к мысли о бесполезности тюремного (буквально) опы-

та — и это приводило меня в отчаяние: а что если придется сидеть годы? Годы пустого времени. Я перебирал в уме известную мне нашу тюремную литературу и вспомнил, что уже давно перестал ее читать: она мне уже ничего не давала. Зато вот Набокова — его я читал каждое слово, и каждое слово давало мне больше, чем том тюремных мемуаров. — Увы, — размышлял я, — искусство жестоко. Ты можешь просидеть двадцать лет за благородную идею — и все же не выйти из той сферы, из которой я уже вышел в юности, при благополучной жизни. Почему-то опыт десятков лет страдания, сопротивления, духовной стойкости я возвращал со вздохом на полку, а вот плод безопасного существования, барстванные роскошества — детство и бабочек Набокова — я вырывал из чужих рук хоть на ночь. И это ведь не из-за мастерства и проч., а именно из-за духовной высоты и духовной современности. — Последнее слово подвинуло мою мысль: прошла эпоха, когда можно было обожествлять внешние атрибуты вроде тюрьмы. Она была необходима, неизбежна, не пройти ее — значит, иметь в себе моральный изъян, легковесность. Я ее прошел. Подтверждение тому — вся моя предшествовавшая жизнь. Но сейчас наступила другая эпоха: когда истиной является чистая духовность, святящая сквозь все, и никакие внешние выражения не имеют права над ней властвовать. Пусть мне говорят: демократия, православие. Для меня это лишь оболочки. Вот посидеть бы настоящий срок — тогда бы я мог высказать эту мысль вполне ясно и явно, а так вроде бы не имею морального права перед теми, кто страдал и жертвовал жизнью за эти оболочки. Не за оболочки ведь, а за дух, — для них они были ведь обожествлены, я ни в малейшей степени не подвергаю (это) сомнению. Я о другом, я не задаваю никого... Значит, если сяду надолго — для меня это будет зря. Все мрачнело на моем горизонте. Я окинул всю свою жизнь: вся она, в общем, шла к посадке, — к высшему, как я считал, подвигу: кинуть «анафема» в лицо этой античеловеческой власти, с презрением кинуть ей под ноги свои кости. И вот я в камере. Если продол-

жить эту линию дальше — она приведет в лагерь. А лагерь перестал казаться чем-то высшим: он превратился теперь не центром современной истории, как раньше, не ареной мирового духовного свершения, а — убогоныким двориком, огороженным деревянным забором, в захолустье, в стороне от главного. И все, что исходило оттуда, несло на себе печать непроходимой духовной узости и провинциализма. А линия, ведущая в лагерь, обладала ведь своей логикой и своей инерцией — ее нельзя изменить одной своей волей. Моя жизнь почему-то прямо не шла, она упорно раздваивалась на крайности: затворится и писать — или вступить в Хельсинкскую группу и сделать максимум возможного, отдать все свои силы до посадки. И опять я в своих размышлениях уперся в тот же тупик, что на воле, и не продвинулся дальше.

Я решил не размышлять о конкретных проблемах — так они не разрешаются, и вновь вернулся к сопоставлению: время воли и время тюрьмы, и смысл этой тюрьмы для меня. Почему мои усилия здесь так бесплодны, почему они не продвигают меня вперед, а только повторяют бывшее раньше.

Если на воле всякое новое содержание давалось мне как откровение, а от меня лишь требовалось его осознать и сформулировать, то здесь, осозная и формулируя, я хотел добыть новое содержание. Получалось это за счет того, что когда на воле «откровения» прекращались — я компенсировал это другими, «не главными» занятиями (всегда хватает) и как бы не замечал отсутствия, во всяком случае не был так зависим. Здесь же зависимость от притока духовных сил была абсолютной — пустоту нельзя было заполнить ничем иным, потому что иного («мира») не было. И приходилось своим, человеческим усилием добывать драгоценные крупички хлеба духовного. И тут мне начал приоткрываться смысл того, что именно дух — наш хлеб насущный, смысл слов: «хлеб наш насущный дай нам на сей день» и штеинеровское: «хлеб один нас не питает. То, что питает нас, есть Дух Святой». И после этого начал понемногу про-

ясняться смысл этого заключения для моей духовной эволюции: прежде я, баловень судьбы, получал все даром из первых рук, сам того не замечая. Оттого во всех моих затеях всегда страдало воплощение, техника. Теперь же я должен пройти весь путь снизу вверх и своими трудами заново добыть уже данное мне даром, пережить человеческую кропотливость и обремененность трудом, чтобы быть чистым перед ними и удовлетворить их претензии, которые в моем деле выступают как требования к мастерству. Действительно, именно этого мне не хватало, действительно, эта камера мне необходима. Что и требовалось доказать. Так я, путем крайнего внутреннего напряжения, за одни сутки перевалил через первый хребет, закрывающий все остальное, — барьер субъективности, через самого себя. И опять совпал с своим прежним, на воле открывшимся выводом: смерть самости — не единократный акт, а то, что мы должны осуществлять в себе постоянно. Мой прежний опыт оправдывался и подтверждался в моей теперешней жизни. Я чувствовал себя правым перед Померанцем, утверждавшим, что «Федор Степанович» — не духовный опыт, а духовное воображение, — но утверждать это для себя еще не решался: ведь прошли всего сутки, а что было бы после восьми лет, которые он отсидел? На сей день я заработал свой «хлеб насущный» — я сам поработался к духу — из этой камеры, которую теперь имею право не принимать всерьез. С этим чувством я и заснул.

На следующее утро пришел с обходом сам начальник отделения милиции — как я понял, специально из-за меня, обвешанный орденами и медалями, глядя на меня, спросил, как фамилия. — Вы сами знаете. — Да, мы все знаем. За что сидишь? — Ни за что. — Как так? — Вы сами знаете. Тогда он набрал воздуха побольше и начал все ту же, хорошо знакомую мне песенку: советский хлеб едите, а говном поливаете — свой народ, который ради вас сражался во время войны. Я сказал ему, что дальше он может не продолжать — я знаю наизусть, что он скажет, и сказал бы он что-нибудь новое. Он растерялся, протянул:

так-так, и спросил, не имею ли жалоб, Я не ответил, и он, оглядев камеру, ушел. После этого сокамерники меня зауважали, и за мной установился персональный статус: не блатной, но и не фраер. Других новичков они встречали неизменным обещанием «прокатить на велосипеде» (вставить бумажки между пальцев ног спящего и поджечь) или «поиграть на гитаре» (то же между пальцев рук, или же — затушить окуроч). Со мной об этом речи не было.

Через некоторое время пришел дежурный, опять спросил, не имею ли жалоб, и передал мне носовой платок. В другой руке он держал ингалятор и корвалол: а это будет стоять на кухне; когда понадобится, скажешь. Носовой платок был большой, красивый, совершенно новый. Сердце у меня сжалось: мне ведь ничего не нужно, я ведь сам обо всем позаботился — и платок, и ингалятор, — а они ездили через всю Москву, разыскивали это отделение, унижались перед ментами. И от невозможности отблагодарить было не по себе. Я подумал, что, верно, ходят, ищут окна, — подошел к решетке, — но глядеть на зеленый солнечный дворик и дом напротив с развешанным на балконе бельем было невыносимо, — и лег опять на свое место. Несколько раз порывался встать — может, они там? Но не позволял себе: нет, родные, сейчас я должен быть без вас. А кроме того, какая-то . . . лень: лень было встать и карабкаться к высокому окну. Какое-то безразличие . . .

Снова заступил тот же дежурный, что и в начале, — который называл меня корреспондентом. Он задержал меня в коридоре, когда я выходил на opravку. В руках у него был мой ингалятор. — На, возьми, пусть будет у тебя. Мало ли — может, плохо станет. И слушай, слушай! Ты напиши там про нашего начальника. И про Крючка, про Крючка особенно напиши — сволочь такая. (Крючков — зам. начальника отделения.) Я думал, что он шутит, тоже отшутился: мол, напишу, все как есть напишу. — Нет, ты послушай, — хватал он меня за руку, — обязательно напиши. Только про меня ничего не пиши. — Ни-ни, — продолжал я шуточный тон. — Нет, серьезно, — не отставал он, — не пиши про меня, а про Крючка

напиши — такая сволочь! Тут я понял, что не шутит . . .

Когда я принес ингалятор в камеру, со всех сторон набросились: это что такое? (К тому времени прибавились новые.) Когда я сказал, урка потребовал, чтобы я объяснил, как им пользоваться. — Зачем тебе? — Кайф хочу поймать. И сколько я ни уверял, что кайфу от него никакого, он настаивал на своем. Я говорил, что вредно, но он тем не менее прильнул к нему, сделал с десяток жадных вдохов и замерзатаил дыхание, ожидая, когда подействует. В это время себе в глотку прыскал другой. Кайф не приходил — он подбавил, другой тоже. И замерли друг против друга, не дыша, открыв рты и закатив глаза. Меня душил смех. — Слушай, слушай, вроде чего-то есть! Голова чуть кружится . . . туман какой-то . . . И правда! Точно — туман . . . Я не выдержал и прыснул. Тут же стали хохотать и они — потом вся камера. Хохотали долго, до слез, желая только, чтобы смех подольше не проходил — чтоб смеяться, пока смеется. Больше, однако, они ингалятор у меня не просили.

Парня, который «раздевал» автомобили, увезли в тюрьму: истекли трое суток задержания и пришла санкция на арест. Урка освободился, забрав из-под меня свой пиджак. Прибавилось трое: двое за кражу, оба уже сидели, и мальчишка 18 лет, получивший 15 суток за нарушение правил движения на мотоцикле. Один из воров всего двадцать дней, как он выражался, «прогудел» (пропьянствовал) на свободе — «с бабой-то толком не повалялся» — и опять на три-пять лет (он украл транзистор из автомобиля). Другой «прогудел» три месяца, устроился уже на хорошую работу — да по пьяни унес с собой магнитофон, который ремонтировал на дому у заказчика, — так он ему понравился, что не мог расстаться, — и — на годы . . . Они мигом сошлись (свож — свожка) и уже затевали выпивку (оба пронесли несколько рублей): договорились с дежурным, отдали ему деньги и теперь «базарили» между собой в хорошем настроении.

Я смотрел на их лица, на их судьбы: их безвыходность угнетала и меня. Лагерь — пьянка, лагерь — пьян-

ка . . . Этот круг мыкать им до конца жизни. И никто, никакими силами не может их из него вывести. И мне жалкими, несущественными показались все мои вчерашние опасения: выдержу или нет я лагерь, достойно или недостойно выйду из испытания, — вовсе не в том заключался настоящий вопрос. Главное было в том, что в мире существует этот круг безвыходности и страдания, и множество людей впряжены в него и от рождения до смерти ходят по нему — неважно, сознают ли они это сами. А я — что? Я уже спасен, я уже на небесах — но вот как мне смотреть на них, вертящихся в страдании, из которого я спасся? Я не могу изгнать его из себя, отмежеваться от него — если Самого Бога не миновала чаша сия. Я должен принять его внутрь . . . Я должен дойти до самой его глубины . . . И передо мной разверзлась такая бездна, о какой я не имел и представления. Все прежнее показалось мне как бы игрушечным . . . Понятие «страдание» — особого свойства. Оно — бездонно. Кажется, что дальше некуда. А — есть куда, и настолько глубже прежнего! Я дал действовать на себя этому страданию, их страданию, открыл ему душу. Для меня это было духовным созерцанием. Для них — всей жизнью, их судьбой. Они либо вовсе не чувствовали этого страдания, либо чувствовали его в преломлении личной обиды, несправедливости своей участи — и обиду эту переносили на тех, кого считали ее виновниками: ментов, прокурора, «сволочей», врагов — и вымещали на ком придется.

Я же всей душой ощущал это как Страдание — и причину его видел над всеми — но и во всех. Над собой — но и в себе. Людей спасает тот, кто возьмется за тяжелый, невидимый внутренний труд: претворять их страдание в свою любовь к ним. Только в этом — и ни в чем другом — выход из того рокового круга. И тогда я впервые сказал: Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных (вместо «мя грешного», как молился раньше). И как тогда, молясь за Сашу, молился теперь за нас, обреченных, и именно этим распространением себя на них я действительно помогал им. Все, что можно сделать для ближнего, — можно сделать постольку, поскольку примешь его в себя, станешь им. Все

остальное — благодушная благотворительность, не достигающая цели. «Нигде так хорошо не молится, как в тюрьме», — вспомнились слова В. Машковой. Молитва не приносила облегчения. Наоборот, с каждым прощением она взваливала на меня еще большую тяжесть, которую я поднимал своими душевными силами. Но силы эти не слабели, словно черпая из невидимого источника, — и я мог нести все больше и больше. И как образ стояла передо мной их карма, которая поглотит, перемелет их, если не помочь им духовной силой. Воля — лагерь, воля — лагерь . . . Этот круг был внешним воплощением их кармического круга: преступление — страдание, преступление — страдание, — из которого они, из жизни в жизнь, не могли выбраться.

Вторые сутки заключения подходили к концу — и я перевалил через второй хребет, который раньше преодолевал лишь умозрительно и перед порогом которого прошли все мои предыдущие искания: убеждение в том, что истина должна быть блаженством. Это справедливо по отношению к страданию самости — но не к Страданию. Все-таки что-то дало мне заключение — оно продвинуло меня к реальности. Все-таки прав был Померанц, утверждавший, что мой духовный опыт еще не мог быть вполне подлинным. С такими мыслями я и заснул, не переставая повторять: Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных . . .

На следующий день утром в камеру ворвался дежурный, сорвал бумажку с лампы, которую мы на ночь наклеивали плевком, чтобы не слепило глаза, выволокли всех в коридор и стали шмонать — нас и в камере. Вчерашний дежурный, которому, как он сам говорил, осталась неделя до пенсии, наступал, видимо, на тех двоих, которые давали ему деньги на выпивку. После завтрака — холодный чай с куском хлеба — в камеру ввели еще несколько человек, и среди них — Коротича. Я поздоровался было, но он сделал вид, что меня не знает. Парень-мотоциклист ныл: отправьте меня на Угрешку (спецприемник для суточников: там выводят на работу и время идет быстрее). Его не слушали. Зато меня, Коротича и еще нескольких суточников посадили в машину и повезли. Коротича при-

няли, меня отправили обратно: нам, мол, больные не нужны.

Одному из воров принесли «дачку» от матери. Он заглянул и выругался: вот сука, мало сахару положила! Сколько раз говорил ей . . . (матери, которая пять лет ездила к нему на «свиданки», слала «дачки», наконец дождалась — и через двадцать дней — опять все заново). После ужина, на котором «дачку» разделили поровну, начались оживленные разговоры. Все-то они знали, эти воры: магнитофоны, транзисторы, мотоциклы, автомобили всех стран и фирм, какая и чем лучше, почему отечественные хуже. Сами могли сделать магнитофон, автомобиль — но совершенно отсутствовала в них гуманитарная, или — шире — «человеческая» душа, словно была кем-то начисто сбрита (не могло же ее вовсе не быть от рождения!). К ним с восторгом подключился парень-мотоциклист, осведомленный не меньше их — он со взвизгиваниями и подростковыми петухами, возбужденно дергаясь и крича, точно бесноватый, рассказывал на сплошном, без единого простого слова, жаргоне, как он гонял на своей «тачке», на каких скоростях и на каких поворотах, как уходил от милиции, как чуть не врезался в грузовик и т. д. — без конца, без остановки. Я чувствовал себя парализованным: нельзя было ни думать, ни дремать — и терпеливо переживал, когда наконец их сморит сон. — Ну а ты чего-нибудь расскажи! — обратились ко мне. — Расскажи, что там на суде было. Я стал рассказывать, заодно и о скрываемой стороне нашей истории, выбирая материал им поближе и поинтересней. И тут они были не протачки: все-то они знали: и о Сахарове, и о развале экономики (тут они могли сообщить мне много такого, чего сам я не знал), и о сталинских репрессиях. И имели свое мнение, которое заключалось в том, что у нас — все говно, и нынешнее руководство — говно. А вот . . . при Сталине — было не так — недаром его так замалчивают. Я стал возражать, завязался спор, который я, кажется, выиграл — или каждый молча остался при своем. Потом разговор перешел на летающие тарелки, от них — к йогам, от йогов — к потустороннему миру, который все же существует, к душе и Богу. Полу-

чилась целая импровизированная лекция, во время которой двое воров проронили ни одного слова и слушали внимательно, а мотоциклетный парень — широко открытыми глазами, ловил каждое слово и просил: еще! еще! переспрашивая, что было неясно — и его вопросы свидетельствовали о полном доверии и живой, неиспорченной еще душе. Когда я кончил, разговор о машинах не возобновлялся, и вскоре все заснуло.

Их механическое беснование произвело на меня тягостное впечатление — чуть ли не еще более тягостное, чем их судьба. Я узнавал в этом последствия действия некоей единой злой воли, стоящей за всей современной механической цивилизацией. Я начинал, так сказать, лично знакомиться с этим великим мертвящим духом, охватившим нынешнюю землю, — тогда как раньше некое внутреннее противодействие уберегло меня от подобных столкновений: я всегда уходил от них. И это мне надо было принять в себя и пережить: опустошающие последствия обуянности духом техники, который в настоящее время по всей земле нагромождает свои руины.

Я никогда не был этому подвластен, это было дальше всего от меня, а потому и труднее для переживания — а ведь именно это привело их и многих таких же в тюрьму: через эту страсть — тут ведь не просто кража — они сделались ворами. Все спали. Молодой мотоциклист, который лежал ближе всех ко мне, причмокивал во сне, как грудной. Вот сейчас они оставлены своими бесами — и как тихи и милы. А завтра найдут их вновь и вновь впрягутся в свою безотрадную судьбу.

Огромная желтая луна светила в окна. Я вспомнил об А.: ровно год назад, тоже в полнолуние, в Ново-иерусалимском лесу произошел тот разговор, так и не дошедший до цели, и вскоре после — тот сон со сверкающей серебристой луной, обещавший, что что-то случится, что все не случайно и не безнадежно, что когда-нибудь мы действительно будем так сидеть на той скамейке под яблоней, под луной... В том сне не говорилось, когда это случится, но я почему-то уверен был, что ровно через год, в полнолуние. И уже ясно, что не случится: я выйду уже в июне, когда

она уедет... Ну что ж, значит — после смерти. Ну что ж — так даже лучше: не примешивается грех из этой жизни. Я глядел не отрываясь на луну и прощался со своей мечтой. Простился, примирился и заснул. Я люблю, когда у меня отнимают, — тогда мне легко примириться. Может, оттого, что не люблю, не умею отказываться сам.

Воскресенье прошло тихо, никуда не возили. Я продолжал свою внутреннюю работу: от мутной, нахлестывающей жизни прорабатываться к чистому духовному содержанию. Я все больше входил в состояние, когда свое тело становится как бы чужим, пассивно выполняет, что от него требуется, — душа же остается в не-уязвимости и самостоятельности. И когда на следующий день, в понедельник, меня опять вывели во двор и посадили в машину, я заметил у себя новое, неизвестное раньше чувство: я не мог уже сказать о себе: я иду, я сажусь, — но душа как бы волочила за собой свое тело — кое-как, потому что оно даже и не вполне ей повиновалось: каждое движение, которое я хотел, чтобы оно выполнило, оно повторяло на какую-то часть, как бы отставало от, собственно, моего движения, смазывало требуемый рисунок. Такая автономность мне нравилась, и я радовался, что у меня впереди еще 11 суток, чтобы укреплять в себе это состояние.

В машине я увидел интеллигентное лицо — это оказался тот самый Н., которого мы разыскивали с Сахаровым накануне моего задержания. Мы разговорились — и это было для меня приятным сюрпризом: я не рассчитывал, что могут быть подобные облегчения. С нами ехали две женщины. Их повезли в КВД на анализ. Потом — опять на Угрешку, но ни меня, ни его там не приняли. Потом повезли в Бутырку, куда сдали женщин (тоже «суточницы»). Потом в 107-е отделение милиции. Н. там приняли, а меня когда шмонали — обнаружили ингалятор и сказали, что без медицинской справки принять меня не могут. Милиционер, который нас развозил, порядком на меня досадовал: ты что, не можешь сказать, что здоров? Там же лучше: на работу выводят. А здесь — в духоте... Через всю Москву меня повезли обратно. Я был в машине один, глазел по сторонам

на оживленный город, солнце и зелень, которой еще застал так мало. И тут душу мою охватило ликование, настоящий восторг, счастье, радость — без всякой причины. То ли оттого, что по дороге туда мы чуть не попали в аварию в тоннеле (женщины вскрикнули и закрыли лицо руками, а я подосадовал, что не столкнулись), то ли оттого, что меня как зачумленного нигде не принимали (а я знал, что никогда и не примут — уверен был почему-то), то ли оттого, что вновь вернусь на свое родное место в углу... Я вспомнил, что мне еще сидеть почти 11 суток — но это никак не вязалось с моим ощущением. И тут я понял, что выполнил свой урок, что мне сидеть больше ни к чему — мне это ничего не даст, а значит, — я сидеть не буду. Каким образом — мне еще неизвестно, но — не досажу. Мне это стало ясно как день.

— А-а! Здорóво! Здорóво! — встретили меня старые знакомые. Остаток дня прошел легко, как проходит последний учебный день в школе.

На следующее утро, во вторник, меня опять вызвали. К машине я подходил с праздничным чувством, предвкушая повторение вчерашней комедии. Меня опять привезли на Угрешку, документы кинули в окошко и тут же спешно уехали. Ждать мне пришлось долго. Потом пришел сам начальник отделения милиции, пригласил меня в кабинет и начал проводить беседу: значит, вы недовольны... А вы же советский хлеб едите... Не дожидаясь, пока он дойдет до говна, я сказал: вы можете дальше не продолжать — я все это знаю не хуже вас. Считайте, что беседу со мной провели. Он замолчал на полуслове и после паузы сказал: а принять вас к себе мы не можем. Нам больные не нужны. Вошел еще какой-то чин, они стали шептаться, и до меня долетели слова «друг Сахарова»... Потом этот чин, уже в коридоре, подошел ко мне и сказал: «Если ты здесь подохнешь — меня расстреляют. Понял? Вот так».

Все услыш. Мы остались вдвоем с дежурным в пустом коридоре. — И чего тебе нужно было на этом суде? Сидел бы дома, — начал он. — Я вот туда не ходил, а прочитал газету — и все знаю. — 7 + 5? — уточнил я сведения, полученные от того добро-

душного милиционера, который сунул мне ингалятор. — Да. — Ну и еще что газета пишет? — Что в открытом судебном заседании... — А я там был и знаю, что заседание было закрытым. Значит, врут? А раз врут, значит, есть что скрывать? Значит, дело нечисто, правда ведь? Он почесал в голове и сказал неуверенным голосом: Да кто их там разберет... И все-таки никогда не поверю, что этот, как его, Орлов просто так полез в такое дело. Тут что-то нечисто. Наверное, много платили. Кто он, Орлов-то? — Ученый, физик, член-корреспондент Академии наук. — Вот видишь, значит, куча денег у него была. И чего ему тогда не сиделось, с чего полез? Нет, нет, ты мне не говори, тут дело нечисто. — А вы не думаете, что есть люди, которые идут на риск бесплатно, ради правды? — Но ведь у него же все было, чего ему не хватало? Сидел бы дома — и жил бы себе припеваючи. Власть ведь не переменишь! Я вот тебе почестному скажу: когда мне вот так подопрет (он показал на горло), я беру машину, семью и — в лес. Так и отвожу душу. А против них идти, выступать — не-е, — это никакой дурак не полезет... Тут пришли и за мной. — Я его отвезу, — вылезался он, — ты тут подежурь за меня пока. Меня посадили в стальной грохочущий воронок и с треском захлопнули дверь, а ему открыли дверцу кабины. — Нет, я с Димкой поеду! — Да что ты — там пыль, грязь, трясет — садись сюда. — Нет, открой! Вновь распахнули дверцу, он неловко влез туда, где милиционеры обычно не ездят, и засуетился вокруг меня: вы к окошку поближе садитесь — там свежий воздух. Я курю, дым — я брошу. — И не успел я рта раскрыть, как он бросил в окошко только начатую папиросу. И вот — мы едем в одном воронке. Он сидит напротив меня, неловко, на краешке жесткой скамейки, и словно хочет что-то сказать. Мне стало неудобно за него, я хотел облегчить как-то его положение, сказать что-то ободряющее — но так за всю дорогу и не нашелся.

... Поехали в поликлинику — за справкой для меня о том, что мне можно пребывать в КПЗ. Врач меня послушала, задавала несколько вопросов и такую справку дала, после чего мы приехали в 103-е отделение

милиции, где меня судили. Меня поместили в отдельную камеру — светлую, просторную. Одиночка! — обрадовался я. Потому что больше всего меня донимали разговоры, галдеж и матерщина сокамерников. Вот здесь-то я без помех займусь своими медитациями.

Тут лязгнула дверь: пойдём! Меня повели к окошку дежурного — молодого, розовощекого, аккуратного мужчины с аристократическим профилем. Он протянул мне бумагу, ручку: пишите. Расписка. Я, такой-то, обязуюсь явиться в 103-е отделение милиции 30 мая в 11 часов. Иметь при себе медицинскую справку о том, что мне можно отбывать оставшийся срок в КПЗ. Число и подпись.

Вот как получилось, что не досижу! Я взвесил, что лучше: сейчас выйти и досидеть потом — или заартачиться и не писать расписки. Много дел, брошенных на половине, работа, где меня должны были заменять друзья. Но главное — вчерашнее предчувствие говорило, что этот выход не случаен, что так надо. Еще раз взвесив, не нарушаю ли я этой распиской диссидентскую этику (вроде нет, я обязуюсь только прийти 30-го, а справку я, конечно же, не принесу — это их дело) я поставил свою подпись. Мне вернули отобранные при задержании вещи, попросили пересчитать деньги... Я подпоясался ремнем и без шнурков, которые остались в 71-м отделении, потопал на улицу ловить такси — на которое именно и захватил пять дней назад ненужную тогда птерку...

Сколько же тем упихнулось в эту узкую щель между двумя камерами!

Холодильник мой был забит консервами — не принята передача для меня (мясное я отдал обратно — для з/к, а рыбное — доел здесь, на этом острове), телефон оборвали, все отделения обзвонили-обходили. И А., которую я первую увидел из друзей, говорила: Дима, я очень рада тебя видеть! (а до того ли ей самой было!), и... мне было страшно неловко, неудобно: ради чего? Ведь я счастливее всех остальных: за 15 суток познаю то, ради чего другие расплачиваются годами. Ведь я — просто баловень судьбы... И меня все время не покидало чувство как будто неполноценности перед другими, которым

оказывается помощь: зачем люди обо мне заботятся, когда Сам Господь меня не оставляет? Мне было стыдно перед всеми, и их участие лишь ложилось бременем на мою совесть. Тем более — рядом с Сашей, с которым мой срок начался почти одновременно. Но ему предстояли годы лагерей, а мне — годы на воле, хотя и наполненные трудом, но и отступничествами, за которые я перед ним — в неоплатном долгу (уж так я чувствовал). Насколько лучше я чувствовал себя в камере — насколько оправданной перед ним и ближе к нему!

Вечером того же вторника ко мне приходила Т. О. За чаем, до глубокой ночи мы проговорили — и я вышел проводить ее на такси, так как метро уже было закрыто. Мы огляделись по привычке: нет ли слежки. На проспекте было пусто — лишь какой-то калека на костылях стоял возле метро. — Уже и безногих нанимают, — сказал я, и мы спустились в подземный ход и стали ловить такси на той стороне. Тут калека через весь проспект поковылял к нам. — Смотри, действительно за нами! — обыгрывали мы эту постоянную в нашей жизни тему. Он подошел, что-то стал говорить, тем временем подошла машина и Таня уехала. Он от меня не отставал, и мы двинулись через проспект обратно. — Слушай, не знаешь, где тут можно переночевать? Я заплачу, — просил он. — Не знаю, я дома не один. — Ну, я переночую где-нибудь на лестнице — только ты дай мне что-нибудь подстелить, ватник какой-нибудь. — Не знаю, не знаю, — пытался я от него отделаться. — Понимаешь, не успел до дому добраться. Негде переночевать. Холодно... Мы уже подходили к дому, а он не отставал. Мне стало жаль его, и я сказал: Ладно, пойдём со мной. Я не поступил бы так до камеры, но чувство глубокой связи с теми отверженными в камере держало меня крепко и не хотело отпустить, — и я его воспринял как некую проверку пройденного урока: не отверг внутренне, — а вот проявится ли это как-нибудь вовне? — Как же, у тебя там есть кто-то? — Пойдем, пойдём. Мы вошли, сели за стол, на котором еще не убраны были остатки ужина, я вскипятил чайник и налил ему. — Слушай, а кто эта девушка,

а? — Знакомая. — А у тебя, наверное, много знакомых девушек. Я пожал плечами. — У меня вот тоже есть. — И он стал рассказывать, как однажды спал с какой-то проституткой, но сбился. — Я раз в лифте ехал с одной — красивая такая, белая. Я ее схватил . . . — он замер и на лице его застыло сложное выражение: злое, страдающее и сладостное одновременно, — и стал душить. — Он замолчал. — Ну и что дальше было? — Ну, она заплакала, мне жалко ее стало. Отпустил . . . А я, думаешь, чего у метро сейчас стоял? Я ждал, пока выйдет какая-нибудь девушка. Я хотел ее убить. И за вами я чего пошел? А кто эта девушка? Он вздохнул, хлебнул чаю (ел мало, один сыр) и показал на свою ногу, которая была отнята ниже колена. — Видишь? А я ведь раньше не таким был. Я мастером спорта был. Я стрелял как! У-у . . . И он понес какой-то бред — будто он работал на иностранную разведку, сделал 100 000 фотографий заводов, а когда должен был их передавать им — то его выследили, вывали в КГБ, хорошо кормили, отговорили этим заниматься, и он тогда перестал. — Эх, здоровья бы мне . . . У других вон все есть . . . Сволочи . . . — Я пытался, войдя в его шкуру, найти какой-то выход, примирение, и разговор, как всегда, коснулся души, бессмертия и Бога. При последнем слове его лицо передернулось такой злобой, какой я у него еще не видел. — Говно все это, сволочи . . . попы . . . ненавижу. — А сколько тебе лет? — спросил он. — 23. — А мне — 24. Мы же с тобой почти одинаковые! Это было неожиданностью для меня, так как он выглядел лет под 40.

На улице было уже светло, и я предложил ему вымыться и лечь спать. Он пошел в ванную. Долго возился там, потом попросил расческу и опять долго не выходил. Я заглянул: он сидел на краю ванны с расческой в руке и смотрелся в зеркало. Промытые волосы стали нежными, легли ровно, открылся большой бледный лоб, лицо его похорошело, все светилось радостью, как у ребенка. — Иду, иду, — сказал он и стал шарить вслепую рукой, ища опоры, чтобы встать — не в силах отвести глаза от зеркала. Я так и не лег в ту ночь — скоро надо было вставать. Долго не решался его будить:

такой покой и блаженство были на его лице. Потом дал ему какую-то одежду, он надел под свой пиджак мою голубую рубашку — и опять пошел к зеркалу. Когда мы выходили из квартиры — встретились с соседкой. Она испуганно шарахнулась от нас (интересно, что она подумала?).

Я проводил его до лесенки в метро, сунул ему на прощанье трешку. Он благодарил, говорил хорошие слова, улыбался — ни тени вчерашней злобы не осталось в нем. Повернувшись обратно к дому, я размышлял: ну вот, исполнил «христианский долг». Только что это ему дало? Ведь после этого прежняя жизнь покажется ему еще горше. А я — смогу ли его принять, если он придет еще раз? Из самолюбивого желания быть хорошим — я сделал ему, может быть, больше зла, чем кто-нибудь другой . . . Я стал представлять, как теперь может вернуться его судьба. Мысли опять приводили к той же теме, которую я переживал в камере, — к теме безвыходного круга страдания, к теме кармы этих отверженных. А что если этот день будет для него последним? Тогда получается все неслучайно . . . Может, попадет сегодня под машину? — при этих словах на лестнице у метро раздался страшный грохот и стук костылей. Он упал. Я не видел его за барьером, но видел, как расступились люди и смотрели вниз, мешкая, — то ли помочь ему подняться, то ли пройти мимо. Возвращаться я не стал. И долго еще в квартире висел тяжелый запах помоев от его одежды.

Днем обещала прийти А. Я открыл дверь на ее звонок — и тут же, на пороге, она уронила сумку на пол и обняла меня. Она принесла банку меда, соленой дальневосточной рыбы. Консервы в холодильнике были тоже от нее. В тот день, когда мне в камеру принесли платок и ингалятор, — приходили мама, М. и А. Она пыталась забраться и заглянуть в окошко ко мне. Но окошко оказалось в туалет. Сработала сигнализация — менты по тревоге выбежали во двор. Их (то есть нас. — О. Л.) привели в отделение, переписали фамилии . . .

. . . В пятницу, после работы, на которой так ничего и не знали, я поехал в Новый Иерусалим. Мы с

А. долго бродили по лесу. Сон с серебристой луной начинал сбываться в этой жизни . . .

Я позвонил Андрею Дмитриевичу. — Вы там оказались — в чужом пиру похмелье. — Не в таком уж и чужом. — Это понятно, но тут . . . И пожелал мне благополучного разрешения этой истории.

В ночь перед 30 мая М. ночевала у меня. Мама настаивала, чтобы я сходил к врачу за справкой. Я сказал, что ходил, но ничего не добился, — и мы поехали с ней в люблинскую милицию.

В 103-м отделении сидел тот же дежурный, который меня выпускал. Он посмотрел на часы и сказал, что машина уже ушла, сегодня меня отправить в спецприемник не могут и лучше прийти завтра. Я настаивал, чтобы сегодня, — так как у меня уже было все рассчитано с заменой на работе. — Вам придется сидеть вместе с пьяницами, уголовниками. — Ничего, посижу — тоже люди. Меня обыскали (стержень и бумагу я положил в носок и надеялся не без пользы провести оставшиеся 10 суток) и отправили в ту, первую камеру, где никого не было. Маме предложили купить мне что-нибудь поесть, и она принесла мне сыра, ветчины, хлеба и молока. К концу дня в камере нас было уже четверо. Двое подрались, их разняли, после чего дежурный предложил мне: может быть, вам предоставить отдельную жилплощадь? — Не откажусь. И меня перевели в ту просторную камеру, из которой освобождали. На следующий день тот же милиционер, что и раньше, повез нас сначала в суд (где судили Орлова). Потом повезли уже в знакомое мне 107-е отделение — возле моей бабушки. Оттуда — в тюрьму на Петровку, в душ. А оттуда в спецприемник в Виноградово под Москвой, по Савеловской дороге. Раньше это был лагерь для военнопленных. КПЗ в милиции называли «маленькой тюрьмой». Ну вот — теперь я попал в маленький лагерь, — смаковал я. В камере было 14 человек. ЕСТЬ ходили в столовую все вместе. Это больше напоминало какой-то интернат, чем тюрьму. На работу меня первое время не выводили. Только мыть-подметать камеры. Под стеклом на вахте лежала записка: установить строгий контроль (и среди про-

чих моя фамилия — политический!). Дежурный, который принимал меня в 103-м отделении, скопировал мне срок: вместо 10 суток написал 9. Но здесь пересчитали все заново, и его добрая воля — в кои-то веки! — так и не осуществилась.

В этом заведении я познакомился еще с двумя «политическими» — они вышли на демонстрацию перед Верховным судом, протестуя против приговора Орлову. Им тоже дали по 15 суток — за мелкое жулиганство.

Публика здесь была не то что в КПЗ: в основном мужья, которых упекли жены, или соседи — коммунальные дрязги. Я рассказывал им, за что попал сюда, о судах, о Хельсинкских группах, обо всем, что знать не велено. Слушали с жадным интересом, полностью сочувствовали и прониклись ко мне сильным уважением, не позволяя ни единой шуточки или фамильярности по отношению ко мне.

Когда меня обыскивали в 107-м отделении, потребовали, чтобы я снял носки. Увидев бумагу, потребовали выкинуть. — На туалет, начальник, оставь! — Там будет на туалет. За препирательствами из-за бумаги стержень остался незамеченным, а бумагу здесь достать было легко — из туалетного ящика, — и я мог писать. Этим я и занимался, когда всех вводили на работу и оставляли меня одного. Исписанные листочки я плотно сворачивал, завертывал в обрывки полиэтиленового пакета и засовывал в ботинки — между кожей и подкладкой, что оказалось не лишним, так как последние четыре дня меня стали выводить на работу, — а по возвращении тщательно шмонали. Когда в понедельник вызвали на работу первый раз, я вспомнил, что от работы принято отказываться «политическим» — так поступали на «сутках» и Саша и Сахаров (?). Но любопытство перевесило, я решил, что это не имеет морального значения, и поехал.

Нас привезли в Академию МВД. Меня и еще одного, тоже со «строгим контролем», направили в столовую, где я и работал в качестве грузчика: разгрузка машины с продуктами — таскали ящики, мешки, говяжьи туши в подвалы, на склады. Здесь мне открылся целый мир, знакомый раньше только снаружи, — со своими

особыми представлениями и укладом. Я увидел жизнь советских рабочих, жизнь людей, низведенных до уровня муравьев, работающих над вещами, им не принадлежащими, когда между мастером и материалом разрушена личная связь, а вытекающее отсюда отсутствие личной ответственности и недобросовестность в работе пытаются преодолеть пропагандным накачиванием: все эти «пятилетки в четыре года» и «борьба за звание бригады коммунистического труда», все содержание первых страниц советских газет есть естественное следствие неестественных хозяйственных отношений, которое и должно само по себе выглядеть так неестественно, как наша пропаганда. Апологетика труда (а не изделия или материала) оттого и расцвела у нас пышным цветом, что от людей требуется только труд, то есть выполнение. И во всем этом неестественном газетном пафосе на тему хозяйства (то есть именно там, где пафос совершенно неуместен) я увидел вынужденные последствия того положения, когда здоровые основы хозяйства подорваны и надо прибегать к насильственным мерам. Большое хозяйство не дает о себе забыть — оно не может не кричать постоянно о себе.

Далее, при том положении, когда от человека требуется только механическое выполнение, а все остальное не нужно и даже вредно, — продолжал я размышлять, взваливая полтуши на весы в подземном складе-холодильнике, — при этом положении необходима организационная система, достаточно сильная, чтобы добиваться этого выполнения. Должна быть сильная власть. Без нее такой строй хозяйства долго бы не продержался. Организм нашего государства, который я раньше не мог объяснить ничем, кроме злой воли, становился понятным с точки зрения необходимости. Злая воля душила свободу и апеллировала к необходимости. А ей люди верили уже сами, не подозревая, что можно подвергнуть сомнению саму необходимость. Так сами себя держали в рабстве и держали это государство. Необходимость воплощалась в куске хлеба, в «хлебе едином», который для этих людей стал «хлебом насущным». Я спрашивал себя, мог бы я жить вместе с

ними этой жизнью, — и чувствовал, что это было бы для меня страшным мучением. Да это же ад! Они уже в аду! Хотя не сознают этого, — и искупают там свой грех, соблазнившись превращением камней в хлеб. Картина этого полудобровольного рабства подавляла меня — у зла, происходящего вокруг, я начинал видеть более глубокие основания, чем злая воля группы людей, и все катастрофические события нашей истории, перед которыми не оставляло раньше чувство: а их могло и не быть! — и в этом чувстве была надежда на исправление, улучшение — на кратковременность царящего зла, — весь ход нашей истории стал приобретать теперь характер внутренней неизбежности, не оставлявшей надежды на какое-то скорое поправление. Я видел пролетариат, находящийся в рабстве — в рабстве у куска хлеба, у Аримана, воплощенного в экономической зависимости.

Я был подавлен этой долей муравья, раба огромного государства. Я спрашивал себя, мог ли бы я вынести такую судьбу? — и не находил ответа, предчувствуя, что могу здесь потерпеть поражение. С этим неразрешенным остатком и закончился первый день работы.

На второй день нас привезли туда же. Я немного привык, чувствовал себя по-хозяйски: звонил по телефону из кабинета завхоза, знал, когда лучше не попадаться на глаза, чтобы забыли, — подолгу заперался в маленьком уютном туалете, чтобы записать пришедшую в голову мысль (свои записки я держал при себе, каждый день пронося сквозь шмон. Стержень укоротил и закалывал в бороду как шпильку). При разгрузке хлеба можно было отщипнуть кусок свежей булки, буфетчица совала мне пачку сигарет за поднесенный ящик (которую я, сам не куря, пронес в камеру, к великой радости сокамерников, так как курить строго запрещалось, на шмоне отбирали все сигареты и спички — пронесли с трудом и прятали в самые невероятные места, однако и оттуда их извлекали в наше отсутствие).

Все, кто от нас непосредственно зависел, заискивали перед нами, чтобы мы сделали лучше, кормили каждый день полным обедом — в той же столовой, без очереди...

Мысли мои переломились, и я увидел другую сторону этой жизни. — Да, все казенное, — размышлял я, прогуливаясь по зеленому светлomu дворику, — но ведь тот, кто имеет с этим дело, не может не ощущать некоторого личного отношения к этому. Грузчик перекатил тяжелую бочку, а потом проволочным крючком таскает из нее селедку. Завхозу привезли товар — в каждом мешке недовес сахарного песка до пяти килограммов на мешок (и даже панировочных сухарей). Вываливают ящик с колбасой — оттуда вываливается огрызок колбасины со следами зубов... Завхоз не хочет принимать эти мешки и ящики, говорит шоферу: вези обратно. Он пожимает плечами: а мне что? Покричав, побегав, он отпускает шофера — продукты принимаются. Хлеба — на каждом лотке вместо 17 батонов по 13—14. — Чтоб все были! — кричит завхоз. — Все будут, хозяин, — отвечает шофер, снимая «лишние» батоны с лотка. — Здесь не хватает! Ну, ладно, одного-двух, я понимаю. Но ведь целых пяти! — Шофер лениво кидает пару батонов: Будет сделано, хозяин!

В этом есть что-то милое: вот это и будет всегда противостоять всем этим: «выполним», «перевыполним», «даешь!» и т. д. Однако каков убыток!

Система в ее конкретном применении в конце концов очеловечивается, и дело в том, каков человеческий материал, в котором она воплощается... Этот день был довольно веселым.

На третий день нас повезли в гаражи МВД, где пришлось разбрасывать асфальт. Одну машину разбросали, а вторая все не ехала — так в тот день и не приехала. Я пошел искать тенек от людей подальше — и оказался на кладбище машин. Грузовики, автобусы, бульдозеры — все ржавой кучей металлолома доживало свой век. Я забрался в какую-то кабину: там изпод баранки улыбалась модная красotka из журнала... Этот день, как я думал, был последним, и я стал подводить итог своим пятнадцати, а с недель перерыва, прошедшей в том же ключе, — двадцатидвухсуточным впечатлением. Мне представилась единая огромная картина царства Аримана, через преступление, через труд, через страсть державшего

людей в рабстве у себя: и те, изживающие свою карму в нескончаемом круге тюрьмы — воли — преступления — тюрьмы... И те, чья жизнь занята тем, чтобы их ловить и охранять... И те, кто душу свою кладут на добывание «хлеба единого»... И те, кто попал в плен через свою страсть к машинам — к власти над мертвым... — те, кого Ариман сделал преступниками, тюремщиками, рабами, властелинами... Во все сферы человеческой жизни проник он, не исключая культуры и искусства, — и создал человеческими силами эту индустриальную цивилизацию. — Дальнейшая эволюция человечества будет происходить не на путях технического прогресса — это мертвый тупик. Исчерпав его, может, во всемирной катастрофе, люди должны будут обратиться к духу. И тогда вся эта техника, все, что образует современный облик мира, — все эти заводы, фабрики, вокзалы, автомобили, — станет грандиозным надгробным памятником нашей цивилизации, которую можно назвать цивилизацией тела, ибо все, что создается техникой, предназначено для тела. И даже там, где техника служит так называемым «духовным потребностям»: книгопечатание, транзисторы, магнитофоны (!) — там она является, по сути, суррогатом «хлеба духовного», перерождением его в «хлеб единый»... Мне представилось всемирное кладбище машин, которое, поразив своим видом человечество, вновь вернется к первоначальным элементам...

На следующий день, я думал, меня выпустят. Но, как я уже говорил, спецчасть пересчитала заново мой срок, и добрая воля того дежурного пропала даром. Это было для меня неожиданностью. Я, злой, работавший лишний день в столярной мастерской — в том же качестве грузчика, а в это время А. безуспешно встречала меня у ворот спецприемника. Так у нас бывало всегда. В 4 часа следующего утра меня выпустили. Я не спеша, лесками и полями, пошел на станцию. Добравшись до Москвы, подождав открытия метро, я, показывая справку для проезда, попытался пройти (ни копейки денег у меня не было). Но меня не пустили. — Я бы постеснялась такую справку показывать, — сказала билетерша с не-

понятной злобой. Справка была действительна только для наземного транспорта. Мне захотелось обложить ее покрепче, но удержался, решив, что нужно проглотить и это, вышел на улицу, стрельнул пять копеек («Парень, дай пяточок, освободился только что») и прошел, отказав себе в удовольствии показать ей.

... Я поднялся к матушке.

Вечером в тот же день я пошел на работу. Меня пригласили к директору. В его кабинете уже сидели: моя руководительница, директор и члены кружка: Н. М., директор библиотеки и В. Д., полковник. — Вот к нам пришла бумага, что вы были задержаны, так как оказали неповиновение работникам милиции и способствовали освобождению гражданки Боннэр, за что и получили 15 суток. Вот мы просим вас рассказать, что произошло. Губы у директора были белые и тряслись — бумага пришла только сегодня, и он еще не знал, что из всего этого для него следует. Я подробно, со стенографической точностью рассказал, как было дело, как теснили толпу, хватили за волосы и т. д., как меня судили, возили из отделения в отделение, — всю историю, воздерживаясь от эмоциональных характеристик, но давая богатый материал для таковых. То, что Боннэр — жена Сахарова, произвело фурор, и много времени понадобилось, чтобы они это переварили. — Боннэр — фамилия-то какая противная! — вскрикивала руководительница. ... Вы подумайте, какая гнусность! Этот Орлов — кальсоны иностранцы на себя надевал! (Она же.) — А вы знаете, какое сейчас положение? В какой напряженной идеологической обстановке мы живем? — толкал речь директор, на трудных словах с привычным усилием преодолевая малоподвижность языка. — Вы кому на руку играете? И вы знаете, что во время войны фашисты перчатки из человеческой кожи делали? Что нет такой семьи, где бы кто-нибудь не вернулся с фронта. ... — А в моей семье, например, восемь человек погибло в лагерь. И все потом реабилитированы. — Ну, это ... об этом говорилось, были в свое время ошибки. ... лес рубят — щепки летят. ... — Озлобился! — радостно, оттого что раскусила меня, вскрикнула директор библиотеки. — А если завтра будет

суд над этим самым Сахаровым, — то вы с кем будете, с ним или с нами, на чьей стороне? — Нет, вы мне скажите! — напал директор. — Ну, это, извините меня, неумный вопрос, — заметил ему полковник, — так нельзя. Что же мы, возвращаемся. ... — Нет, вы мне скажите! — Я буду там, где мне велит совесть. — Скажите, а вы там случайно оказались или не случайно? — Как же случайно, когда я специально пошел на этот процесс. — А зачем вы туда ходили? А откуда вы узнали, что будет этот суд? Вот мы, например, все, — не знали, мы только из газет узнали — и верим тому, что написано. — А я рад бы верить, но не могу. Если в газете написано, что суд был открытым, а я своими глазами видел, что он был закрытый, — то вот сколько вы мне ни доказывайте, что черное это белое, я этому никогда не поверю. Я туда пошел, чтобы выяснить правду. — В мутной водичке правду искать! А что же мы все — неправду? ... На протяжении этой беседы в класс заглядывали ученики, но руководительница закатывала глаза и говорила плачущим голосом: Ах, у меня сердце, уходите все домой, никаких занятий, ах, я не могу! ... Заглянула Л., директор магазина «Березка». — Мне можно, как члену кружка. ... — Уйдите, надо было с самого начала, а теперь нельзя, — не пустил ее директор. К концу всех препирательств постановили: установить надо мной шефство, усилить идеологическое воздействие, провести обсуждение моего поступка. ...

В следующий мой рабочий день, во вторник, меня опять вызвал директор, на этот раз интимно. Видимо, он получил инструкции меня не выгонять — и мог себе позволить отеческий тон. Посмотрев на меня добрыми глазами, он заговорил: Вот, Дима, я даже не знал, как вас по отчеству. А о чем это свидетельствует? То том, — глаза его утеплились, — что я к вам как-то особенно близко относился. И мне по должности часто приходится даже кричать на работников, — а на вас я даже никогда голоса не повысил! И Александра Миронова (руководительница вокального кружка в Доме культуры. — О. Л.) вас очень уважает и тоже никогда на вас не кричит, хотя знает, какой у

нее характер. Вас все здесь уважают. И вот я, как отец, советую вам: сделайте необходимые выводы. Бросьте вы это дело. Вот сейчас у вас в руках пианино, а будет — пила, и будете вы работать на лесоповале, а с вашим здоровьем... Я прошу вас еще раз все взвесить и сделать надлежащие выводы. И потом... строй ведь не переменить. И, как говорится, — с волками жить — по-волчьи выть...

Тем временем А. уехала, оставив незаживающую пустоту в душе. В один из ее последних перед отъездом приходов ко мне я пережил одно трудно передаваемое впечатление. Незадолго до этого я прочел на немецком языке антропософскую книгу о музыке Anni von Lange. Mensch, Musik und Kosmos. В ней говорилось о космическом значении тональностей, и я переписал оттуда таблицу, где отражалась связь между 12 знаками зодиака и 12 тональностями. А. попросила меня поиграть. Я спросил, под каким знаком она родилась. Оказалось — Весы, которым соответствовали тональности gis и H, смысл которых определялся словом «взвешивание». Я сыграл ей прелюдию и фугу gis из I тома «Хорошо темперированного клавира». Это была та самая прелюдия и фуга, с которой я поступал в училище. Та фуга, которую я впервые пережил на концерте Рихтера весной 1970 года, которой кто-то дал название «Шествие на Голгофу». Говорят, эту фугу Рихтер играл на похоронах Пастернака. Мой же знак — Водолей, которому соответствуют тональности e и Es, определяемые словом «Равновесие» — равновесие всего: чувства, воли, интеллекта и проч. Это совпадало с особым переживанием мной двух произведений: органной прелюдии и 3-й фуги Es и первого хора «Mattheus-Passion» — которые всегда считал «своими», имеющими особое значение для меня. И вот — словно некое прозрение коснулось меня: если моя сущность — равновесие, обретаемое через веру, даруемую свыше, то ее — взвешивание, то есть рассудочный, человеческий, земной эквивалент равновесия. Божественной гармонии. И этот человеческий путь к Божественной гармонии и есть шествие на Голгофу, мучительное несение Креста. И это в ее облике имею

я перед собой как недостающий мне, необходимо связанный со мной образ, дополняющий меня. И именно через нее ведь действовал тот импульс, который, развиваясь, привел меня наконец в камеру. И эта камера явилась необходимым дополнением моей идеи, выраженной в «Федоре Степановиче», — ее, так сказать, земным обеспечением. Этой камерой я оправдал «Федора Степановича». Ею же я должен оправдать себя. Она — мое земное задание, без которого не может существовать моя духовная жизнь. Видимо, я для нее — выход в духовное, такое же дополнение, недостающее ей, как она — для меня. Здесь от меня многое требуется. Это — мое задание в этой жизни...

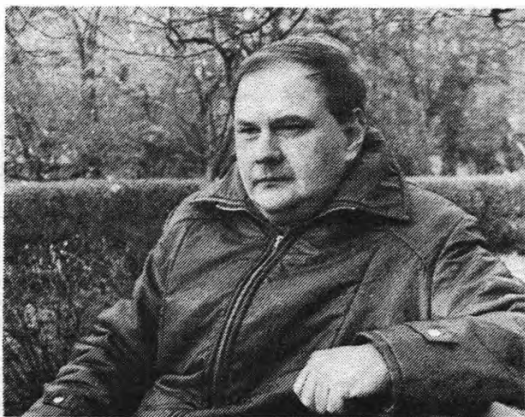
Как много сразу открылось мне после этого прозрения! И многое в ее характере, и многое в нашей истории.

Остаток июня я прожил в Новом Иерусалиме, наезжая в Москву только для работы. Собрал и перепечатал все накопленное за зиму, с момента окончания «Федора Степановича», и 4 июля, наскоро собравшись, уехал с Д. Климовым в Карелию, на свой катамаран. Павла Андреевича (в «Федоре Степановиче» — Павел Иванович), бывшего урки, который вот уже 25 лет жил на воле, — «семью накопил, детей, — пускай живут, жить никому не запрещено» и который два года назад, спяну, предлагал застрелить меня, — его больше не было: он застрелил своего сына дробью в упор. Тот умер в больнице, а Павел Андреевич — уже два месяца — находился в Петрозаводске под следствием.

Так опять установила связь со мной тюремная тема.

Д. Климов уехал, его сменил С. Штуко, а 27 июля уехал и он. Прележав 4 дня с больной ногой и дождавшись попутного ветра, я переселся 31-го на остров километрах в 10 от берега, который открыли мы с Д. Климовым. Здесь, в рыбацкой избушке, я и пишу все это, пытаюсь осознать опыт прошедшего года и подготовиться к следующему году — к новому плаванью во враждебной стихии земной жизни.

Публикация О. Т. Леонтьевой



ИСТОЧНИК

Русский поэт Анатолий ЦАПЕНКО родился в 1948 году в Риге. Учился на историко-юридическом и филологическом факультетах ЛГУ. Работал литсотрудником в газете «Железнодорожник Прибалтики», редактором и корреспондентом радиостанции «Атлантика», редактором журнала «Шахматы».

Стихи А. Цапенко публиковались в журнале «Даугава», в республиканских газетах.

Вновь ослепило город, и вззошло
всех площадей бессонное пространство,
когда зима не ищет постоянства,
и на душе спокойно и светло.

И утренний торжественен гранит,
когда скоропалительную речь
эпоха рвется вечности навстречу,
и лишь туман безмолвие хранит.

Абажур сияет рыбкой красной —
ребер свет божественный горит...
Кто попался в сеть и кто улыбкой
шепчущей меня заворожит?

Где вселенной чудотворный адрес?
Где звезды слезящейся игла?
И трепещет, словно в кинокадре,
глаз твоих стремительная мгла.

НОЧЬ

Смородиною черною мерцают
слепой зимы ночные огоньки,
но с вдохновеньем теплым восклицают
твои мне руки, губы и виски.

Скользят луны готические тени,
к ладони тихо ластится волна.
Волос и ласк ночных хитросплетенье
душа любить немислимо вольна.

Как черных клавишей дизезы и бемоли,
зрачков твоих и музыка и тишь.
Вселенной трепет. Ангел боли
себя забыл, чтобы тебя постичь.

Как заблудившийся в саду Цереры
открою, что такое колдовство,
что это сон: лишь отблеском химеры
и мне Сатурна чудится кольцо.

Когда, свиваясь жуткими ужами,
из бездны восстает пучина бездн,
и ты уже не скован миражами
раздвинутых прозрением небес,

тогда ты скажешь: «Милая, довольно
ночной смородины и чуткого тепла...»
И воспаленные космические волны,
как паутинку, ты сотрешь со лба.

* * *

Огромные стрекозы точно птеродактили
очерчивают в небе фиолетовые круги...
Для зенита зрения это знаменательно:
стеклянных крыльев скрежет — вдребезги.

Знаменосцы зеленой растительности —
жаба, щука, ведьма, голубая тля —
распад заката вам легко перенести:
ваша пища — солнце, ваша суть — земля.

Прищуриваясь, выслеживает дождь
в паутинке набухающей луны,
и он снисходит, как венецианский дождь,
и его движения грозные живительны.

* * *

Хрустальный мозг моря и луч горизонта
в глазах умиравшего Хлебникова
это число граней в камерке мира
или умноженные на черемуховые космосы
олени в пространстве дремучего времени,
держачие как заклинание северный бокал.
дальше — неизвестное отражение синих птиц
в осколках древних мыслей
сулило перспективу смотрящего духа
когда славяне предназначенностью судеб
зрели в Перуне водопад старинного чела
и плоть седых уходящих голосов.

«ДЕМОН» ВРУБЕЛЯ

Самоцветы очей в созерцаемом
черно книжье пространства демона
в строении тканей отождествляются
с застывшими рубежами морских птиц
когда тончайшие пурпурные тона
возвращают сокровища разума
для хранения седых плоскостей гор
и на кистях космического черноглазья
где дремлет соцветие утра
озарили ночные сцепления
кристаллообразную дрожь светил
плывущих на черемуховый голос.

* * *

Скрипичным ключиком открой
души своей надзвездный строй
зверинный, рыбий или птичий
в тысячелистнике обличий
и брось в колодец жгучий перстень.
Давно для жаждущих игра —
ты освежаешь горло песней
пронзительней и неизвестней,
которая как нож остра.
Но там, над музыкальной бездной,
парит лишь демон, или этот
судьбы бессмысленен удел
в высоком звании Поэта,
что в оболочке льда твердел
и ждал железного рассвета.

* * *

Как бабочки прозрачны имена
они всегда с невинными очами,
но в сочетании с поющими ночами
их смысл дрожит и жизнь напряжена.

Они помещены в крахмальный сон,
где кружатся в светящихся кошмарах,
и каждое из «признанных имен»
вдруг отражается на тульских самоварах.

У ХУДОЖНИКА

За стаканчиком токая
каждый смотрит свысока,
и острит не умолкая
красный перец языка.

За стаканчиком токая
Даму Пиковую — ночь —
провожает мастерская:
как графине не помочь.

Впрочем, даже без токая
каждый Брак и Пикассо . . .
И фортуна не стихая
вертит счастья колесо.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Блаженство еще испытаешь
у звездных немых пирамид —
ты идола кровью питаешь,
и он с тобой говорит:

«Ладьи перевернутой идол,
дитя суеверного сна,
я все в этом мире увидел
и знаю, как жизнь создана».

Вдруг рот окровавленный сморщил:
«Не знаю, что будет с тобой, —
на звезды, как в зеркало, смотришь
и споришь с превратной судьбой».

* * *

Так видеть хочется воочью
как гроздь белые — белы
черемухи, холодной ночью,
когда в лучах скользят стволы.

И звезды шумные на ветке
искрясь играют в домино,
затем скрываются в беседке
или снимаются в кино.

Еще сценария не зная,
Я вижу, шею заломив, —
луной подхвачена сквозная
свобода, как морской прилив.

* * *

Душа уже не ищет постоянства
и разрывает обступивший мрак,
спрессуй огонь дыханием пространства,
найди звезду и обнаружь свой знак.

И звездный час в своем великолепье,
в сиянии предстанет пред тобой:
ведь прошлое лишь отзвук или пепел
чего-то несвершенного судьбой.



Эдите Паулс-Вигнере.
Вселенная-Земля
{фрагмент}.
Гобелен

УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

Теперь, когда мы знакомы со всеми действующими лицами старинного «романа с продолжением», надобно признаться: эти лица, их характер и поведение уже не изменятся до конца повествования. И потому представляется возможным бегло перелистать несколько последующих главков. Итак, вкратце: богатый дядюшка, несмотря на рыбное подношение, жениться Ванчике не советует и никаких денег не обещает; напротив, сам он не прочь вступить в брак со своей ключницей. Коварный Притц с завидной энергией устраивает избранной им жертве и своему сопернику одну ловушку за другой. Между тем дядя Ерема уговаривает расстроенного молодого человека развестись и заодно испытать свои чувства разлукой, для чего они и решают «в течение 10 и даже более дней объехать излюбленные места, которые постоянно посещают удильщики на Двине». Добираются приятели и до Гавы (Гауи), возвращаются и ловят рыбу у дамбы в устье Двины (следует подробный рассказ об этой дамбе); попадают в страшную грозу, даже и смерч пришлось им увидеть едва ли не вплотную, — «редкое явление в нашей местности», — замечает по этому поводу автор.

А г. Притц времени не теряет. Не без его наговоров скаредный дядюшка окончательно отказывает молодому человеку в деньгах, хуже того: исполняет свою угрозу жениться на немке-ключнице и с нею вместе уезжает неизвестно куда, определив племяннику крайне скудное содержание да еще оставив в подарок, точно в насмешку, набор куда негодных английских удочек.

Но еще прежде того хитрый г. Притц сумел вовлечь простодушную опекушку Машеньки в непосильные расходы. Ожидая скорой свадьбы Маши с г. Пятницким и понадеявшись на деньги его дядюшки-генерала, Матрена Прохорова набрала всякого добра на приданое, в долг, заложив для того последнее имущество — свой дом. Подстрекал ее к тому тот же Индрик Притц; он же и сговорился с ростовщиком и выкупил вексель Матрены Прохоровны. И тотчас по отъезде Ванюшки дядюшки мясник был в ее доме: или отдайте за меня Машеньку — или же вы разорены.

Скрепя сердце согласилась старушка с неизбежным. Машенька в свою очередь была обманута Притцем: он напел ей что-то об измене г. Пятницкого, будто бы забывшего ее давно с другой девицей. Неудивительно, что Ваню, явившегося к Машеньке после долгого отсутствия, с негодованием прогнали. Добавим еще, что Индрик Притц подослал к Ивану, с горя возвратившемуся к дяде Ереме и прерванной рыбалке, своего шпиона — чтобы уж наверняка знать, что юноша не вмешается и не испортит под конец так хитроумно измышленный план. Но разгадавший его уловку Иван Алексеевич ухитряется уйти от слежки и однажды ночью оказывается у дома своей возлюбленной.

С величайшею осторожностью подошел он к своему Эдему, где оста-

валась заключенною его Ева; потому что если не было пламенного оружия во вратах его, то мог встретить стое-

росовку дворника. Однако злой рок его заснул, аргуса — верзилы дворника не оказалось на месте, но зато слышен был самый доброкачественный храп его на дворе. Ваня робко подошел к окошку своей возлюбленной и, о радость! — увидел, что ставни приотворены и сквозь них пробивается свет. Не успел он еще утишить тяжело дышащую грудь и размыслить, что далее делать, как поступить, чтобы дать своей царь-девице почувствовать, что он, ее Иван-царевич, здесь, как сама царь-девица открыла окно, сложила белые рученьки на подоконник и со слезами поникла головкой. Видно, бедной не спалось при мысли, что не далее, как через двое суток придется ей коротать подобную ноченьку с глазу на глаз с человеком, в сравнении с которым и лютей зверь и темная могила не Бог знает что. Вдруг она почувствовала обе свои ручки в чьих-то руках и что кто-то, величая ее нежнейшими, сладчайшими именами, жарко целует их, обливая горячими слезами. Все тут было забыто: злость, приличие, долг, страх . . . Маша догадалась, кто это.

— О! Ваня, ты ли это? — произнесла Машенька.

— Радость моя, ненаглядная, я . . . я, твой Ваня, но . . . но ради Бога, говори тише . . . нельзя ли тебе выйти, чтобы не услышала бабушка . . . Об одном прошу, выслушай . . . За что ты отогнала от себя, как какую-нибудь собаку, верного, нелицемерного друга своего?

— Верного, нелицемерного друга?! . . . Чтобы не слышала бабушка?! — строго, но тихо произнесла Машенька, вырывая со всею силою ручки свои из рук своего обожателя. — Верность ваша и нелицемерность таковы, что лучше промолчать о них. Но мне не для чего выходить к вам: я уже невеста другого, но и не потому еще, а вот почему: вам нечего сказать мне . . . Вы человек молодой, увлекающийся. И это моя вина, а не ваша . . . Впрочем, если вы имеете что-нибудь сказать, говорите смело, бабушка ничего не может слышать: она очень больна.

Действительно, Матрена Прохорова была слишком нездорова. Не физический недуг сломил ее крепкую натуру, а нравственный. Сто лет

прожила бы она, если бы не происшествия последнего месяца. Она теперь увидела, что ее райский цветочек, Маша, которую она пестовала и выпестовала в царь-девицу, из ее теплицы так-таки прямо и пересажен на суровую редечную гряду огорода Притца. Если она и уступила Притцу, то уступила невольно, в справедливом предположении, что может последовать еще нечто худшее. Но скоро она убедилась чутьем женского сердца, что Машенька никогда, ни во веки веков с Притцем не может быть едино, как церковь Божия повелевает. Пуще всего мучила Прохоровну мысль, из-за чего же погибает Машенька и оказывается брошеною ее, Прохоровны, совесть? . . . Из-за какой-нибудь тысячи рублей? . . . О! сколько таких тысяч брошено ими на ветер во время их благоденствия! Эта тысяча, за которую держал их Притц, словно ловкий удильщик девятифунтового леща на трехволосной удочке, не позволяла ему ни сорваться с нее, ни оторвать. Она серьезно заболела еще с первого удара, как Притц уверил ее в том, что Ваня есть не что иное, как нищий и, сверх того, негодяй. Чем дальше, тем сильнее развивалась ее болезнь. После сговора Маши она уже ни одной ночи не спала. Лекарства, прописанные ей, не принесли ни малейшей пользы — и теперь ей дали сильный прием морфия, чтобы доставить несколько часов крепительного сна, чем и воспользовалась Машенька, безотлучно по ночам присутствовавшая при постели ее, чтобы хоть несколько освежить свою надорванную грудь живительным действием летней ночи. И тут-то неожиданно-негаданно встретила того, о ком надрывалась ее грудь.

— Говорите, я вас слушаю, но говорите скорее: нас могут увидеть . . .

— Мне и самому время дорого: часа в четыре, много в пять, я должен быть на Дунь-озере, чтобы не подать повода шпиону Притца забить тревогу. Я сию минуту оттуда. Я, кажется, на крыльях ветра летел сюда, не помню, как мелькнули мимо меня эти двадцать восемь верст. Цель моей такой поспешности одна: сказать вам, что я ни в чем против вас не провинился.

— Может ли это быть, Ваня? — уныло произнесла Машенька, снова

с доверчивостью наклоняя к нему свою головку.

— Да, дорогая моя, ненаглядная!

И он быстро рассказал ей, изо дня в день, где он был, что делал и причины, почему он поступил так. Она слушала его безмолвно, едва переводя дыхание, и потихоньку плакала. Слезы ее крупным дождем падали на руки Ивана Алексеевича, в которых снова покоились ручки девушки. Речь свою он заключил так:

— Милая моя, уверься, что я тот же твой Ваня, как был, вырывая тебя из рук злодея.

— Верю, милый мой, верю от всего сердца и ничему наговору на тебя не поверю, — отвечала Машенька, едва удерживаясь от громких рыданий.

— Благодарю тебя... Но в таком случае позволь мне снова, но уже навсегда, вырвать тебя из рук разбойника.

Задрожала Машенька, как лист от бури. Она поняла, что теперь уже поздно, поняла весь ужас своего положения, но вместе и безысходность из него. Любовь на минуту озарила мрак ее души, заставила ее на минуту все забыть, но при напоминании о том, кому она безрассудно отдала себя в кабалу, вся грозная действительность восстала пред нею.

— Поздно! Я сама себя дала опутать, мы только затянем узлы его петли, а не разорвем ее. Он нас разорит, мы у него теперь кругом в долгу. Всех наших пожитков не хватит разделаться с ним. Я готова на все, на все нужды и лишения, а что будет с бабушкой? Но пусть мы освободимся от него, куда мы преклоним свои головы? Мы оба теперь нищие и думать не можем о браке, я уже прогнала от себя глупые мечты о роскоши на чужой счет. Я дошла до убеждения, что была бы счастлива, если бы честным трудом могла обеспечить свои нужды. Но увы, что значит у нас честный женский труд! Он едва-едва дает только то, чтобы с голоду не умереть. Можно ли тут думать о браке, семье? .. О! Милый мой, если рок тяготеет над нами, чему я мало верю, то это есть праведное небесное наказание за прежний ход наших мыслей. Не будем восставать против такого приговора, покоримся ему. Милости, только одной милости можем мы просить смиренно, а не протестовать

дерзновенно. Я несомненно верю, что эта милость так или иначе будет нам оказана. Теперь, как ни ужасно мое положение, я все-таки чувствую себя не так несчастною: ты любишь меня! .. Милый, и я тебя люблю и никогда не разлюблю. Но... исполню свой горький долг! И... ты позволь мне это благодушно, не увеличивая моих мук соглашением на бесполезное сопротивление.

Ваня плакал, чувствуя справедливость слов своей возлюбленной, от которых ныло его сердце.

— Милый, расстанемся, пора, скоро люди подымутся. Простимся, если не навсегда, то надолго, в ожидании лучших дней.

— Простимся? Да! — горячо воскликнул Ваня. — Но не навсегда, даже не надолго. Вся жизнь моя будет посвящена тебе... Я буду ждать лучших дней, но не пассивно, я буду трудиться, чтобы, во-первых, трудом убить горе, а во-вторых, попробовать, нельзя ли трудом добиться чего-нибудь для лучших дней.

— Благодарю тебя, милый... Еще более теперь убеждаюсь, что Господь тебя прислал сюда подкрепить мою немощь. Перекрести же меня, благослови выполнить мой долг.

— Перекрести и ты меня.

Затем они расстались. Ваня, сам не помня как, вырвался из объятий своей дорогой и прямо побегал на почту, где за двойные прогоны взял курьерских до Гавьи, уплатив из пятидесяти рублей, оставленных дядею. Часа в четыре утра он уже переезжал Гавью, отпустив почтовых лошадей, дабы не подать шпиону и виду, что он отлучался так далеко. Идучи лесом версты две от Гавьи до корчмы при Дунь-озере, где они бивакировали в сарае, он успел набрать грибов. И это сделал он очень кстати, потому что дядя Ерема и его товарищ уже с трех часов утра поднялись на ноги, чтобы ехать для ловли на другой конец озера, за семь верст от корчмы, и крайне удивились, не найдя Ивана Алексеевича. А шпион крайне даже встревожился, не улетпнул ли в Ригу птенец, порученный его смотрению. Он совершенно успокоился, когда Ваня выспал перед ними груды боровиков и других грибов. Только дядя Ерема проворчал, что такую дрянь можно собирать в полдень, когда рыба не клюет.

Таким образом ночной визит Ивана Алексеича Маше остался тайною для всех. Но даром не прошел он Маше: экзальтация подействовала на ее нервы, она заболела. Доктора объявили, что ей надобно абсолютное спокойствие по крайней мере с неделю, а иначе болезнь сильно разовьется и примет дурной оборот. Делать нечего, свадьбу отложили до 16 августа. Это было для Маши соломинкою утопающего, и она ухватилась за нее.

XX. СОЛОМИНКА РАЗРАСТАЕТСЯ В БРЕВНО

В день Преображения Господня, храмового праздника динаминдской крепостной церкви, в Динаминде каждый год бывает огромное стечение народа из Риги и окрестностей, подобное тому, как на архиерейскую мизу в Иванов день 24 июня. Все пароходы, какие только имеют возможность быть свободными от буксировки, обращаются в пассажирские для доставки публики туда и обратно. Музыка гремит на тех пароходах, каким удается нанять ее. С раннего утра до позднего вечера, за исключением двух, трех послеполуденных часов, берега Двины стонут, а рыба мечется от них как шальная, в глубину. Это почти непрерывная, так сказать, буря без ветра, тем более, что пароходы, желая как можно более выручить и удовлетворить публику, которая толпами стоит на плавучем рижском мосту в ожидании очереди ехать в Динаминд, разводят сильные пары, отчего усиливается прибой волн к берегам. Сдав публику благополучно на Динаминдскую пристань, пароход летит обратно, чтобы забирать другую партию ее из Риги. Отправляются они из Динаминда, не ожидая пассажиров до Риги, да и сомнительно, чтобы в тот день с утра были таковые, нередко случается, что на всем пароходе, несущемся на всех парах в Ригу, нет ни одного пассажира. В это же время лодки всех возможных форм, величин, свойств и качеств, как чайки, плывут по Двине и Красной и настоящей по направлению к Динаминду с гуляющим людом. После двух-трех часов по обедни совершается до

позднего вечера такой же отлив жилой волны из Динаминда в Ригу, тогда уже пароходы не ждут публики рижской, а немедленно высадив на мосту динаминдских пилигримов, торопятся уехать поскорее, чтобы из Динаминда забирать других. Они до того торопятся, что в тот день изменяют курс своих рейсов: вместо того, чтобы заходить на Огьянку, в Мюльграбен, к масляной фабрике г. Филлипсона, к Белой кирке для забирания публики, как они совершают это обыкновенно, они плывут прямо по Двине, так что публике означенных местностей, желающей сделать визит Динаминду, остается отправляться на лодках.

Что влечет честную публику в эту почти пустынную местность, так как предместья ее, или форштадты, как-то неприветливо прячутся между песчаными холмами, на которых нет почти никакой растительности, так как морские порывистые ветры свевают ее немилосердно с негостеприимной полуподвижной почвы. Православная публика вообще усердна помолиться в церкви, где отбывается престольный праздник, особенно если этот праздник может быть обращен потом и в приятное летнее гулянье. Остальная публика именно одно это гулянье и имеет в виду. А в Динаминде в этот день, кроме церковного праздника, есть и другой — яблочный, происхождение которого, вероятно, основано на том, что в этот день по преданию и уставу православной церкви совершается освящение плодов земных. Благочестивые наши рижане старого закона ни за что не позволят себе скушать ни яблочка, ни грушки (а некоторые даже смородины, крыжовнику, поспевающих ранее первых) до Преображения, т. е. до времени, пока черковь устами своих пастырей не скажет им: «кушайте, детки, на здоровье!» Благочестивой публике, конечно, представилось, что лучше всего получить эту санкцию в той церкви, где храмовой праздник, а кстати и погулять там. Хорошо и в своей церкви, но не мешает допустить и разнообразие! Вот и везут туда яблоки для освящения, а для тех, у кого нет своих яблок, груш, привозят их возами заботливые люди, глаголенные кулаки и кулачки, торговцы и торговки. Возами привозятся в той основательной надежде,

что всякий, кому бы и не нужно было покупать, купит их непременно, потому что, во 1-х, свойство праздника к тому обязывает, во 2-х, пример заразителен, так как большинство публики непременно старается почтить праздник исполнением его заповеди, и в 3-х, возлияния совершаются обильные, а чем закусить? Вся русская публика, кроме постного бублика и разве селедки, не найдет там ничего для закуски, да если бы и нашла, не позволила бы себе отведать ради чести поста, на который смотрят все равно как на великий пост. Чем же лучше закусить два-три выпитых добрых стаканчика простовейну, как не яблоками, грушами, хоть будь они незрели? Вреда не может быть, потому что они освящены. Кулаки и кулачки, конечно, имея то в виду, стараются всеусерднейше знакомить публику именно с такими плодами, которые требуют и содействия небесного и русского желудка чудесного для переваривания без особенного вреда. Можно, наверное, положить, что по крайней мере 9/10 привезенного туда товара именно принадлежит к этой категории. И нужды нет, все благополучно сбывается с рук с отличной вырубкой для продающих, без особого вреда для покупающих. Обе стороны довольны.

Индрик Притц тоже был в числе яблочной динаминдской публики, притом не один, а с своей нареченной, только что несколько оправившейся от последствий ночной беседы с г. Пятницким. Влекли его туда не яблоки, не груши, не праздник церковный (он и в свою кирку не любил жаловаться), не желанье публику повидать и себя показать, а самая настоящая необходимость: брак его должен был совершиться 16 августа в динаминдской церкви. Почему это так? Почему Притц не хотел венчаться в одной из рижских церквей? Иван Алексеич стоял пугалом пред ним. Как он ни унизил его в глазах невесты и ее родных, как ни поставил невесту в невозможность примирения с ним, он боялся, ему мерещилось и наяву и во сне, что он, ненавистный и беспутный г. Ваня, подставит ему ножку при приближении к брачному алтарю, во всяком случае надевает ему всяких пакостей и скандалу в день брака, например, на вопрос священ-

ника: не обещалась ли иному мужу, он с приятелями своими хором может воскликнуть: обещалась! И что мудреного, что Маша при этом наскандальит, напр., упадет в обморок или, что еще хуже, скажет: обещалась! — а народ и напустится на него? По зрелом соображении он решил свадьбу совершить в Динаминде. Сюда лишней публики не пропустят, особенно если он не покусится. Притом же в военной церкви берут далеко дешевле за освещение и прочее. И он отправился сюда, чтобы окончательно условиться обо всем со священником, и взял с собою невесту как для того, чтобы доставить ей под непосредственным своим наблюдением случай развлечься после болезни, так и для того, чтобы окончить формальности обыска: требовалось, чтобы невеста дала подписку о своем согласии на брак и подписалась на подписке жениха о воспитании детей в православии (тогда она еще не была отменена). Так как священник в ту пору, как они прибыли в Динаминд, уже отправился к обедне, которую ради торжественности праздника служил с диаконом, нарочно вызванным из Риги, то Индрик, которому вообще мало нравилась какая бы то ни было церковная служба, отправился на яблочный базар посмотреть, нельзя ли кого обалахтать, т. е. поднадуть на чем-нибудь, а невесту оставил в церкви в чаянии, что тут никто не вдует в уши ей чего-нибудь противного его интересам. Он немножко ошибся в том и другом: заболтавшись, он прозевал конец обедни, почему Машенька, подошедшая ко кресту и сказавшая священнику, кто она такая, была приглашена им на дом к чаю, а там она, может быть, сама того не понимая, высказалась, каков ей отзывается этот брак. Священник из ее нескольких отрывочных слов и жестов догадался, что тут дело что-то нечисто, некрасиво. Он никак не мог объяснить себе, каким образом такая пристойная и прелестная девушка выходит за такого старика безобразного. Стыд девичий, вспыхивавший на ее бледных щеках, ясно доказывал, что невеста не принадлежит к числу тех барышень, которые, потерявши в лесу девичью красоту, как в одной из русских песен поется, отдаются первому встречному богачу, чтобы его богатством позолотить

свой срам. И он принял в ней глубокое участие. Необходимо сказать, что этот благочестивый иерей был не кто иной, как о. И. Т., человек в высшей степени религиозный, здравомыслящий, честный, правдивый, принимавший глубокое участие в страданиях ближнего. За это он впоследствии пожертвовал своею жизнью, подобно святым мученикам. Он инстинктивно угадал, что тут его пастырское участие необходимо для спасения жертвы, и он решился на это.

Но что он мог сделать там, где рек, по-видимому, наложил свою когтистую медвежью лапу? Невеста соглашалась на брак твердо, без малейшего противоречия и тотчас, как только нареченный ее явился, сел важно за трапезу, подписалась на обоих документах. Метрические свидетельства были в порядке. Недоставало бабушки, но она прислала согласие и благословение, нотариальным порядком засвидетельствованное, паспорта обоих имели полную законность. В паспорте Индрика значилось, что он вдов, а в метрике — что вдов несколько лет. Не оставалось никакой возможности приостановить брак. А все-таки священник решился для очищения своей совести закинуть словечко о неравности сего брака, варьируя эту тему, насколько было возможно. деликатным образом, т. е. расспрашивая, сколько лет ему и ей, рассказывая разные анекдоты, чем кончаются подобные печальные браки, в которых вопреки здравому смыслу и законам природы молодость приносится в жертву престарелому золотому тельцу.

Но Притц, выпивши третью, возвратил иерею:

— Полно о пустяках толковать: я с тремя женами уже справился, да и не такими, как эта сахарная. Бог даст, и с этой управлюсь, так что надеюсь, никому не позволю украсить себя бычачьим украшением, а сам, как быка, убью! У меня славная бойня!

При этих словах о. И. Т. невольно вздрогнул от радости и ужаса. Причиной радости была надежда спасти симпатичную жертву, а страха, потому что он сам этих хвастливым признанием мясника извлялся от большой ответственности пред начальством.

— Как? — спросил он, однако ж

совершенно спокойно, виду даже не подавая, что интересуется вопросом. — Неужели вы были три раза женаты? Боже мой, мы и одного-то бремени не выносим как следует, а вы три раза внесли и в четвертый раз собрались взять новое, притом такое молодое, хорошее, т. е. самое тяжелое? Да правда ли это?

— Правда ли это?! — воскликнул надменно Притц, наливая четвертую. — Притц никогда не лжет и лгать не намерен. Я даже помню, как звали мою первую жену, хотя не помню, сколько лет тому назад она отправилась к своим папочке и мамочке. Ее звали Линой Германовной Гольцберг, я венчался с ней в 18... году, в ...ской кирке и помню хорошо, что на ужин столько почек издержано, что на другой день всем покупателям принуждены были отказывать. Потом я через пять лет женился в ...ской кирке на Трудхен Миллер-Мейеровой. А вскоре по смерти ее меня женили на Кетхен Мерценберг. Такая была (непечатное выражение), что рад был, когда тело ее в отличном гробу отнес на кладбище, в траурном сюртуке, но с радостью на душе! .. А с этой-то поживем. Прежние три, скажу тебе, батя, правду, были-таки порядочные рожи, а эта, посмотри хорошенько, ведь право фон-баронесса, куда баронесса? Фон-принцесса! ..

— И все, что говорите вы, верно?

— Что же мне вас обманывать?

Но полно о пустяках, погсворим, сколько за что следует.

И Индрик полез за кошельком, давая знать, что он за деньгами не стоит.

— Извините, — отвечал скромно о. Иоанн, — приход ждет меня с крестом. Я сию минуту пересмотрю ваши бумаги и явлюсь к вашим услугам.

Действительно, минут через пять он возвратился из другой комнаты, которая служила ему и спальней, и детской, и кабинетом, держа бумаги. Руки его несколько дрожали, лицо было несколько бледно, но спокойно, и он, возвращая Индрику его бумаги, твердо отчеканил:

— Милостивый государь, брак ваш невозможен по правилам нашей святой церкви...

— Как? Почему?

— Вы вступаете в четвертый брак, а у нас он не допускается.

— Я и знать этого не хочу!

— Можете это знать или не знать, а я знаю одно, что не могу венчать вас.

Понял наконец Индрик, что дело его неладно, и полез в свой широкий карман за средствами устранить нелад. Вынув несколько крупных кредиток и разложив их на столе, он сказал отцу И.:

— Батя, это твое, только . . . не ломайся . . . кончай дело.

— Не могу, г. Притц, я бедный человек, я бьюсь с шестью детьми, пробиваюсь кое-как изо дня в день, даже думаю, что жизнь моя коротенькая и дети мои останутся без куска хлеба, но я не возьму не только денег ваших, но и сотен тысяч за повенчание вас. Совесть возбраняет. Возьмите ваши деньги — и удалитесь, мне некогда.

— Хорошо, найду попа поумнее вас. Он повенчает и за половину.

— Да, я это предвидел, г. Притц. Увы, к нашему несчастью, не прописывается в паспортах, кто из вдовых вдовствует по которому браке. А из метрических свидетельств трудно это видеть, потому что в метрике в случае смерти кого-либо из супругов никогда не означает, в котором по числу браке состояло лицо умершее. Сколько было предписаний, циркуляров, чтобы брачное состояние лиц было ясно обозначено! А между тем это законное требование сплошь и рядом нарушается. Какой-нибудь пьяный писарь, получивший пятиалтынный, чтобы ускорить выдачу паспорта, и не думает обращать внимание на брачное состояние лиц, это для него второстепенное дело. Одну ли он имел женой, или двух, нескольких, он просто пишет: женат, вдов, холост, да и того не пишет. Его дело прописать прочие пункты, живет относящийся к делу. А начальство и подавно подписывает паспорт. А между тем, в случае чего, мы, священники, и отвечаем, зачем не обратил должного внимания на это. Обыкновенно мы принимаем многое при браке на веру. Лучше бы все эти дрязги поручить полицейским чиновникам, а нам быть только освяителями брака, после того, как государство рассмотрит, возможен ли брак на основании существующих законов Божеских и гражданских. Вот и в ва-

шем паспорте, г. Притц, значится, что вы вдов, но после которого брака — неизвестно. В метрическом свидетельстве тоже. По смыслу закона я должен был требовать от пастора, которым браком вы были женаты, пастор отвечал бы, что ему неизвестно или что-нибудь неопределенное — и пошла перепалка! И я, в случае чего, отвечал бы жестоко. Но слава Богу, вы сами открыли мне глаза. Чтобы не отвечать перед совестью и законом и за других, я написал на вашем паспорте вот что: вдов по третьем браке и приложил церковную печать. А завтра еще напишу об этом, кому следует. Вот вам ваши бумаги.

Машенька так и повалилась ему в ноги.

Не беремся описывать ярость, в какую пришел Притц при неожиданном для него препятствии. Он и просил, и грозил, подкупал и страдал, убеждал и лстил священнику, но все осталось напрасным.

— Пойдем, Маша, — ревнул он наконец, — здесь нечего нам делать, мы с архиереем поговорим, а не с попами. Пойдем!

— Нет, г. Притц, я не пойду с вами.

— Но ты моя невеста? Ты приехала со мной и поедешь со мной.

— Я была вашей невестой, а теперь я свободна. А до дому доберусь и сама.

— Я тебе приказываю идти со мной.

— А я вас не слушаю. Батюшка, примите меня под свое покровительство, отправьте меня домой, не выдайте меня этому . . . человеку.

— Дочь моя, в моей квартире никто и пальцем до тебя не дотронется. Г. Притц, прошу вас удалиться.

Ровно в час Машенька вышла из дома священника, чтобы сесть на пароход, выждать там его отправления. О, как ей был радостен свет божий, как просветлено на ее душе! Она уподобилась осужденному на каторгу, которому неожиданно, негаданно объявили: ты волен идти на все четыре стороны. К довершению ее блаженства в то время, как она не доходила к пристани, вдруг встретила своего возлюбленного.

— Ваня, милый мой, дорогой мой, — воскликнула она, бросаясь к нему в объятия, все забывши, — браку этому не бывать. Я свободна!

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛЕНИНЕ И ЛЕНИНИЗМЕ

После того как в нашей стране были, наконец, опубликованы «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и повесть «Все течет» В. Гроссмана, для апологетической ленинистики наступили тяжелые времена. В крайне неблагоприятных условиях, то есть при отсутствии действенной поддержки со стороны КГБ, МВД и идеологических подразделений комитетов КПСС, ее представители вынуждены заниматься изнурительными поисками существенных различий между ленинизмом и сталинизмом. Как известно, ни Солженицын, ни Гроссман, исследуя корни репрессивной системы сталинизма, таких отличий не обнаружили.

Однако, несмотря ни на что, апологетическая ленинистика живет. Это можно видеть хотя бы на примере статьи видного московского ученого, профессора А. Бутенко «Реальная драма советской истории» («Наука и жизнь», 1989, № 12). Почему именно эта работа вызывает особый интерес? Прежде всего, она отличается от общей массы апологетико-ленинистских трудов своей искренностью, глубиной анализа сущности сталинизма. Эта искренность явилась предпосылкой того, что статья А. Бутенко, независимо от желаний автора, объективно показала отсутствие принципиальных отличий ленинизма от сталинизма, их глубокое родство в наиболее важном — моральном аспекте.

В своих интересных рассуждениях о сущности сталинизма Бутенко с удивительной откровенностью признает, что «все, кто всерьез занимался изучением истоков и природы сталинизма, не могут отделаться от мысли,

что в нем до сих пор скрывается какая-то не разгаданная историческая тайна. Причем, чем больше пишут об извращениях И. Сталиным научного социализма, чем больше показывают организованные им неоправданные репрессии и беззакония, ужасы раскулачивания и коллективизации, тем сильнее становится ощущение отсутствия концептуального понимания сталинизма, тем острее сознание того, что все это обилие разоблачений оставляет за кадром что-то важное, неуловленное и непонятое». На мой взгляд, этими словами Бутенко признает недостаточность объясненной феномена сталинизма с позиции оправдания ленинизма; бессилие апологетической ленинистики разгадать «тайну» сталинизма. Это мое мнение. Но Бутенко потому и позволил себе такую, казалось бы, неуместную для лениниста откровенность, что не сомневается в своей разгадке «тайны» сталинизма: «Сталинизм в своем социалистическом обличье» не есть просто фальсификация и извращение марксизма-ленинизма (хотя это тоже имеет место!). Ревизия сталинизма значительно глубже, ибо он пересматривает соотношение цели и средств и выступает как теория и практика построения социализма в любых условиях и любой ценой, как способ действий по принципу «цель оправдывает средства!». Дальше Бутенко совершенно справедливо указывает на аморальность этого принципа, ка то, что неразборчивость в выборе средств достижения цели приводит к искажению самой цели, ведет не к той цели, которая намечалась первоначально. Все это так, и Бу-

тенко действительно сумел близко подойти к разгадке «тайны» сталинизма, сформулировав его суть, его моральный императив. Но только подойти к разгадке, а не достигнуть ее. Ибо разгадка «тайны» сталинизма в том, что на самом деле никакой тайны, загадки не существует. Именно этот нравственный императив — «цель оправдывает средства» — лежит в основе ленинизма, и Бутенко, сам того не желая, подтвердил высказанное четверть века назад Гроссманом мнение, что нет феномена Сталина — есть феномен Ленина.

Собственно говоря, и сам Бутенко пишет, что не кто иной, как Ленин, сформулировал принцип «нравственно все, что служит коммунизму». Как добросовестный исследователь, Бутенко не может не признать этого, но, как верный ленинец, он, осуждая эту формулу, все-таки пытается оправдать ленинизм: «При таком подходе нравственно оправдывалось и политически санкционировалось многое такое, что глубоко противоречило всему гуманистическому духу марксизма и ленинизма (массовые казни, система заложников, злоупотребление насилием, высылка из страны определенных групп интеллигенции, расправа за инакомыслие и т. д.)». Подобный способ защиты ленинизма не может не вызвать недоумение и вынуждает задаться рядом вопросов, а именно: с каких пор для марксиста-лениниста практика перестала быть критерием истины? И как быть с утверждением Ленина относительно того, что о политическом деятеле следует судить по его делам, а не речам? И если практика ленинского руководства — все те злоупотребления насилием, которые перечисляет Бутенко, причем — не только в годы гражданской войны, как любят говорить апологеты ленинизма, но и в эпоху «мирного строительства» (1921—1922 гг.), — не ленинизм, то что в таком случае считать ленинизмом? Те лозунги, отношение к которым Ленин продемонстрировал в 1917 году в статье «К лозунгам»? Но если практика ленинского руководства страной и партией все-таки ленинизм, то в чем проявился его гуманистический дух?

«Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. На-

ша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». Так Ленин объяснял суть коммунистической морали, объяснял молодежи на III съезде комсомола (1920 г.). Известный же специалист по партийной этике А. Сольц развил эту мысль на заседании ячейки ЦКК и НК РКК в 1924 году: «Основой нашей этики являются интересы преследуемой нами цели. Правильно, этически, добром является то, что помогает осуществлению нашей цели, что помогает сокрушить наших классовых врагов, научиться хозяйствовать на социалистических началах; неправильно, неэтично, недопустимо то, что вредит этому... Вот когда мы будем подходить с точки зрения полезности для партии, когда каждый момент мы будем рассматривать под углом зрения интересов революции, то такой подход и явится бесспорным признаком, по которому очень легко определить этичность тех или иных поступков».

Принцип «цель оправдывает средства», которым всю свою политическую жизнь руководствовался Ленин, на верность которому вел жесткую селекцию в партии, во многом объясняет феномен Ленина и большевизма. Прежде всего, перестаешь удивляться тому, «с какой легкостью на различных этапах своей борьбы Ленин меняет исходные парадигмы своего мышления» (А. Ципко, «Лит. газета» от 17.01.1990 г.), «гибкости тактики» большевистской партии, нечистоплотным методам ведения политической борьбы*.

* Характерен один эпизод IV (Объединительного) съезда РСДРП, о котором вспоминает А. Луначарский:

«С меньшевиками мы резались люто. Хотя съезд должен был быть «объединенным», но каждый понимал, что в зависимости от количества голосов на этом съезде «объединенная» партия получит ту или иную физиономию.

Ленин со своей тонкой усмешкой говорил мне тогда:

— Если в ЦК или Центральном Органе мы будем иметь большинство, мы будем требовать крепчайшей дисциплины. Мы будем настаивать на всяческом подчинении меньшевиков партийному единству. Тем хуже, если их мелкобуржуазная сущность не позволит им идти вместе с нами. Пускай берут на себя одну разрыв единства партии, доставшегося та-

Принципом «цель оправдывает средства» может руководствоваться либо фанатик, который действительно верит в это, либо циник, который понимает безусловную эффективность вседозволенности. Цель может быть какой угодно, но мы рассматриваем случай, когда целью является власть, причем неограниченная, то есть такая, какую понимал Ленин под диктатурой («Пролетарская революция и ренегат Каутский»). Диктатура класса, партии, которая действует от имени класса, диктатура руководителей партии... «Договориться... до противоположения вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная нелепость и глупость», — говорит Ленин весной 1920 года.

Фанатик верит (именно верит, ибо фанатизм невозможен без веры, вне религиозного, догматического мышления), что власть только средство, которое позволит ему достичь высокой цели — сделать человечество счастливым (в силу своего догматизма он не в состоянии задаться вопросом, желает ли человечество такого счастья). Фанатик верит, что величие идеи делает приемлемыми любые средства, лишь бы они приближали реализацию заветной цели. Фанатик не знает сомнений, в несогласии он видит либо непонимание, либо глупость, либо злой умысел; непонимающим можно объяснить, глупцов — принудить, злоумышленников — изолировать или уничтожить. Фанатик не видит того, что власть, которая рассматривалась им лишь как средство, постепенно становится целью, что уже ради этой цели, ради удержания и укрепления власти становится допустимым применение любых средств. Благодаря своему

кой дорогой ценой. Уже, конечно, из этой «объединенной» партии они при этих условиях уведут гораздо меньше рабочих, чем сколько туда их привели.

Я спрашивал Владимира Ильича.

— Ну, а что, если мы все-таки в конце концов будем в меньшинстве? Пойдем ли мы на объединение?

Ленин несколько загадочно улыбался и говорил так:

— Зависит от обстоятельств. Во всяком случае, мы не позволим из объединения сделать петлю для себя и ни в коем случае не дадим меньшевикам вести нас за собой на цепочке».

догматизму, своей ограниченности (а человек, замкнувшийся на одной-единственной идее, не может не быть ограниченным) фанатик не видит различий между благом для человечества, благом для класса, для партии, революцией... То, что полезно для партии, — полезно и для человечества, не сомневается он.

Циник, рвущийся к власти любыми способами и любыми средствами удерживающий ее, не назовет власть своей целью. Он не верит в идеаль, но как человек трезвомыслящий понимает, какую притягательную силу они имеют для человечества. Циник уверен в своем преимуществе над порядочными людьми, свобода действий которых ограничена определенными моральными рамками. Он презирает их, слово «порядочность» в его устах звучит как издевка. Одновременно он боится осуждения, поэтому всегда заботится о своем «имидже», желает оправдать в глазах людей свои действия, старается выглядеть порядочным человеком. И для фанатика, и для циника характерна нетерпимость к независимости суждений, к инакомыслию, к оппозиции.

Понятно, что нельзя представить себе ни абсолютного фанатика, ни абсолютного циника среди политических деятелей, руководствующихся моральным императивом «цель оправдывает средства»: первый не нашел бы достаточного числа сторонников (крайности действуют отталкивающе), второму же просто не поверили бы.

Фанатизм и неразборчивость в средствах, применяемых для достижения поставленной цели, объясняют многие действия и суждения Ленина. Ленин «обогащает» марксизм понятиями ортодоксии и ереси (ревизионизма), преобразовав тем самым последний в религиозное учение. Ленин пишет «Материализм и эмпириокритицизм» — книгу, не много стоящую в философском и научном плане (Бердяев справедливо отмечает поразительную наивность Ленина в философии; Богданов и Аксельрод в своих рецензиях показали некомпетентность Ленина, непонимание им сущности философской проблематики, прикрытые показной ученостью и тем, что в начале века называли «литературным наездничеством»),

глубоко враждебную по своему духу и науке и философии прежде всего нетерпимостью к ереси (что, как не ересь, является движущей силой и науки, и философии), неумением и нежеланием понять причины ее возникновения и аргументацию «еретиков». Проблемы философии и науки (физики) меньше всего волновали Ленина. Его цель — власть. Результат известен: Каприйская школа, претендовавшая на роль теоретического центра большевистской партии, разгромлена, ее лидер и член руководства партии — А. Богданов — исключен из ЦК (ЦО) и из партии. Лидерство Ленина стало безоговорочным.

Логика Ленина, как в данном произведении, так и в других работах, часто поверхностна и рассчитана на внешний эффект. В полемике Ленин не гнушается и демагогии. Примером тому может служить выпад против Плеханова в «Апрельских тезисах»:

«Г-н Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели «бред» сотни слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению «брёда»? Некругло, совсем некругло у вас выходит».

Кажется, ответить на это не составит особого труда: можно указать, что внимание слушателей к подобной речи свидетельствует об еще меньшей, по сравнению с оратором, их интеллектуальной подготовке (и уже поэтому разбор речи необходимо уделять место в газете), можно отметить, что владение ораторским искусством еще не означает глубины и верности защищаемых положений. Можно, наконец, вспомнить отца эмпирической науки Нового времени Ф. Бэкона, писавшего, что «наибольшую силу у народа имеют учения или вызывающие и драчливые, или краснобайские и пустые». Можно? Нет, конечно: нетрудно догадаться, что в ответ последуют обвинения в барстве, в презрительном отношении к самому передовому классу, обвинение в буржуазности и т. д., и т. п.

Вместе с тем Ленин не циник. Он естественен, искренен, правдив. Ему абсолютно чужды лицемерие,

фальшь, поза. Его откровенность поражает.

О диктатуре:

«Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами.

Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами» («Пролетарская революция и ренегат Каутский», осень 1918 года).

«Пусть моськи буржуазного общества, от Белоруссова до Мартова, визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке большого, старого леса».

«... было бы величайшей глупостью и самым вздорным утопизмом пеллагаты, что без принуждения и без диктатуры возможен переход от капитализма к социализму».

«... всякая великая революция, а социалистическая в особенности, даже если бы не было войны внешней, немыслима без войны внутренней, т. е. гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя...»

«По мере того, как основной задачей власти становится не военное подавление, а управление, — типичным проявлением подавления и принуждения будет становиться не расстрел на месте, а суд».

«... суд есть орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства, — ... суд есть орудие воспитания к дисциплине».

«Решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет» («Очередные задачи Советской власти», весна 1918 года).

По поводу выборов в Учредительное собрание (декабрь 1917 года), где большевики не получили большинства:

«Всеобщее избирательное право является показателем зрелости понимания своих задач классами. Оно показывает, как склонны решать свои задачи разные классы. Самое решение этих задач дается не голосованием, а всеми формами классовой борьбы, вплоть до гражданской войны».

Иными словами, результаты выборов — не показатель волеизъявления народа, а нечто вроде социологического теста, показавшего преждевременность введения всеобщего избирательного права. Ленину вторит и Н. Бухарин: «Это значит, что так называемая воля «нации» для нас вовсе не священна. Если бы хотели узнать волю нации, нам нужно было бы созывать учредительное собрание этой нации. Для нас священна воля пролетарских и полупролетарских масс».

А вот положение, которое придется по душе современным рэкетирам, так как их деятельность, видимо, не имеет пока идеологического обоснования:

«Я перейду, наконец, к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и на мою речь. Попало здесь особенно лозунгу: «грабь награбленное», — лозунгу, в котором, как я к нему ни присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слово: экспроприация экспроприаторов, то — почему же здесь нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты.)

И я думаю, что история нас полностью оправдает, а еще раньше истории становятся на нашу сторону трудящиеся массы; но если лозунг «грабь награбленное» проявил себя без всяких ограничений в деятельности Советов и если окажется, что в таком практическом и коренном вопросе, как голод и безработица, мы натываемся на величайшие трудности, то тут своевременно сказать, что после слов: «грабь награбленное» начинается расхождение между пролетарской революцией, которая говорит: награбленное сосчитай и врозь его тянуть не давай, а если будут тянуть к себе прямо или косвенно, то таких нарушителей дисциплины расстреливай» («Заключительное слово по докладу об очередных задачах Советской власти», весна 1918 года.)

Тем, кто обвиняет Б. Ельцина в популизме, не мешало бы вспомнить выступления Владимира Ильича.

Наконец, приведу слова из выступления Ленина на пленуме ВЦСПС, может быть более всего поразившее меня злойшей ассоциацией:

«Я рассуждаю трезво и категорически: что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих? — Первое лучше. И пусть меня обвинят в каких угодно смертных грехах и нарушениях свободы — я признаю себя виновным, а интересы рабочих выиграют».

Во времена красного террора речь шла не о десятках и сотнях, и не только, и даже не столько, о тюрьмах...

Кто еще в истории XX века брал на себя ответственность за нарушение общечеловеческих норм нравственности? Не вожди ли третьего рейха? Культ вождя (Ленина и очередного генсека, за исключением, конечно, М. Горбачева)*, опора на насилие, апология диктатуры (посвященные диктатуре страницы работы «Очередные задачи Советской власти» — из наиболее ярких в литературном наследии Ильича; о социализме он писал гораздо менее выразительно), презрение к общечеловеческой морали — эти стороны ленинизма (большевизма) допускают, как ни трудно это сознавать, рассмотрение его в качестве одного из течений фашизма. Эта тема еще ждет своего исследователя. И, как знать, не увидим ли мы в новом свете такие факты, как обра-

* Очень точное наблюдение сделано Г. Померанцем («Век XX и мир», 1989, № 3); рассуждая по поводу феномена единоличной власти Сталина, он пишет: «Что-то здесь навсегда останется тайной (опять тайна! — Ю. ф.). Но один уголок тайны бросается в глаза; и достаточно раз указать на него, чтобы увидеть. Потому что мы все это знаем, только не вдумываемся:

Партия и Ленин —

близнецы-братья, —

кто более матери-истории ценен?

Мы говорим — Ленин,

подразумеваем — партия,

Мы говорим — партия,

подразумеваем — Ленин.

Большевики-ленинцы. И это их отличает от всех других партий. Меньшевики — не мартовцы, не плехановцы. Они сами по себе. И эсеры — каждый сам по себе. У Марии Спиридоновой было огромное нравственное обаяние... однако эсеры никогда не были спиридоновцами или, допустим, черновцами. Большевики были партией, имевшей бесспорного вождя».

звание фашистских партий в Италии и Германии в 1919 году и — вдохновенные ленинские строки о диктатуре в 1918-м, одобрительная характеристика фашизма Бухариным* на XII съезде РКП(б) (1923 год) и — отсутствие негативной реакции на его слова среди делегатов съезда, «Договор о дружбе» 1939 года и — восхищение Сталина действиями Гитлера. Наконец, не станет ли более понятным благодушное отношение современного большевистского руководства к нынешним русским наци. Поскольку же последнее сочетается с жесткой политикой по отношению к демократическому движению, в частности к Демократическому союзу, то невольно вспоминаешь, что ненависть к социал-демократам испытывали и Ленин («социал-предатели»), и Сталин, и Гитлер.

Приведенные выше откровения Ленина могут показаться цинизмом. Нет! Циник скажет, что «жить стало лучше, жить стало веселей». Искренность Ленина свидетельствует о чистоте его совести, о том, что ему не видятся «малышки кровавые в глазах». Так может говорить только тот, кто стоит выше общечеловеческих понятий морали, милосердия, чести, тот, кто находится по ту сторону добра и зла, тот, кто уверен в своей исторической миссии, в своем праве распорядиться жизнью, смертью, судьбами тысяч и миллионов. Бердяев прав, когда говорит, что Ленин, проводивший жесткую политику, не был по натуре жестоким человеком. Понятия жестокости, как и цинизма неприменимы для его характеристики. Ленин не жесток и не гума-

нен — его поступки и суждения определялись «революционной целесообразностью». Если Ленин отвергал индивидуальный террор — то не из гуманизма; если допускал массовый — то не из антигуманности.

Сталин более прост и циничен. Он меньше других лидеров большевиков спорит с Лениным. Логика Ленина ему близка и понятна, ибо это и его логика. И если большинство партийных лидеров в те или иные моменты политической борьбы не соглашались с Лениным, выходили из ЦК, партии, правительства, будучи не в состоянии преодолеть в себе остатки старых представлений о порядочности, благородстве, чести, не в силах перебороть в себе «интеллигентщину», причем большинство из них вскоре все-таки возвращались, переступив через себя, через эти архаизмы в своем сознании, то Сталин всегда с Лениным, сомнения ему, как и Ленину, чужды. Во всех деяниях Сталина ощущается его глубокое понимание сути ленинизма. Даже в споре об устройстве Российского государства Сталин не повернул по-своему, хотя и имел такую возможность уже во второй половине 30-х годов, осознав глубину ленинской мысли, что для большевизма границы — дело десятистепенное (номинальная независимость до 1922 года, скажем, Украины не мешала московскому руководству изымать у украинского крестьянина урожай, осуществлять здесь суд и внесудебную расправу).

Только сознавая духовное родство Ленина и Сталина, единство их морального кредо, можно понять, почему партия не выполнила завещание вождя, рекомендовавшего сместить Сталина. Ведь характеристика Сталина, в отличие от других характеристик, которые содержатся в «Последних письмах», не имеет указаний на политические недостатки генсека. Что касается таких замечаний, как «груб», «нетерпим», «нелоялен» и т. д., то партия, в силу ленинского воспитания*, не привыкла обращать

* «Характерным для методов фашистской борьбы является то, что они, больше чем какая бы то ни было партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции. Если их рассматривать с формальной точки зрения, то есть с точки зрения техники и их политических приемов, то это полное применение большевистской тактики и специально русского большевизма: в смысле быстрого собирания сил, энергичного действия очень крепко сколоченной военной организации, в смысле определенной системы бросания своих сил, «учраспредов», мобилизации и т. д. и беспощадного уничтожения противника, когда это нужно и когда это вызывается обстоятельствами».

* Из воспоминаний Г. Кржижановского: «Если мы скажем, что Владимир Ильич всегда стремился окружить себя людьми большого таланта и волевой энергии, то этого будет мало. Он положительно гетов был «ухаживать» за такими людьми, радовался их успехам,

внимание на подобные сантименты, известно ведь — «Москва слезам не верит» (но верит в «революционную целесообразность»). Партия не выполнила рекомендаций вождя, так сравнительно легко пошла на сворачивание нэпа потому, что видела в логике поступков генсека логику поступков любимого Ильича, понимая, что «Сталин — это Ленин сегодня».

* * *

В запасе у апологетов ленинизма есть еще один козырь — нэп. Да, Ленин совершил немало ошибок, признают они, но в конце концов он вывел страну, пусть методом проб и ошибок, на дорогу, ведущую к светлому будущему! Увы, нэп, введенный под угрозой потери власти, в преддверии всеобщего антибольшевистского восстания (уже выступления рабочих, от имени которых правят большевики, приходится подавлять с помощью красных курсантов, уже восстал героический Кронштадт, подняв лозунг «Власть Советам, а не партиям»), в условиях революционной ситуации, был обречен. Причем и в том случае, останься Ленин в полном здравии. Ибо нэп — вынужденная уступка в экономике, ни в малейшей мере не сопровождавшаяся уступками в политике, идеологии. Ибо даже в последних работах Ленин не успокаивается, предлагает курс на поголовную кооперацию, не допускает естественного развития страны. Ибо эффективность и развитие частного сектора в конце концов поставили бы под вопрос диктатуру большевистской партии и ее вождей.

прощал им порой многие «слабости», которые, казалось бы, не могли ускользнуть от его зоркого глаза.

И когда кто-либо в его присутствии распространялся об «отрицательных качествах» того или иного товарища, он резко прерывал всякую обывательщину в этом направлении:

— Вы мне расскажите-ка лучше, какова линия его политического поведения».

«Владимира Ильича можно было легко рассердить распылчатой характеристикой какого-нибудь человека в качестве вообще «хорошего» человека. «При чем тут «хороший», — аргументировал он. — Лучше скажите-ка, какова политическая линия его поведения...»

В этом смысле показателен ответ Ленина на вопрос корреспондента «Манчестер гардиан» А. Рансома (сентябрь 1922 года): «Каким образом нэпман не является и не показывает признаков стремления быть политической силой?» Вопрос резонный. Ведь только через участие в политической жизни страны, через делегирование своих представителей в органы власти, в том числе и верховной, «частный сектор» способен в какой-то мере оградить себя от неожиданностей, от шараханый власть имущих в экономике (такого рода процесс — образование политических организаций кооператоров и фермеров — мы наблюдаем и сейчас). Ясно, что выход на политическую арену новых сил несовместим с диктатурой партии. Поэтому вопрос Рансома имеет важный подтекст: готова ли большевистская партия пойти на политические уступки, отказаться от диктатуры? Отосланный Рансому ответ Ленина намеренно легкомыслен: дайте, мол, торгашу торговать, и он не станет думать о политике. Однако имеется и иной, неотосланный вариант ответа, где позиция большевиков изложена недвусмысленно:

«Я думаю, что «нэпман», т. е. представитель растущей торговли при «новой экономической политике», желает быть политической силой, но не показывает никаких признаков этого или показывает их так, чтобы скрыть свои пожелания. Ему необходимо стремиться к сокрытию своих пожеланий, ибо иначе он рискует встретить серьезную оппозицию со стороны нашей государственной власти, а иногда и хуже, чем оппозицию, т. е. прямую враждебность».

Перестройку часто сравнивают с нэпом, что совершенно неоправданно. Ведь перестройка, в отличие от нэпа, началась с определенных политических уступок, отхода от партийной диктатуры, и политическая реформа все время обгоняет экономическую. Скорее с нэпом можно сравнивать послемаоцзедуновскую реформу в Китае: экономическая реформа без политической завершилась, как известно, жестокими репрессиями.

Главной приметой 1921—1922 годов я бы назвал не нэп (он лишь показал, какой процветающей могла бы стать Россия, откажись большевики

от политического диктата). Основная отличительная черта, основной итог «мирного строительства» 1921—1922 годов, на мой взгляд,— это целенаправленная работа Ленина по укреплению диктатуры РКП(б), работа по созданию тоталитарного государства.

Менее чем за два года Ленин в этом направлении успел сделать очень много. Так, вместо расформирования, как можно было бы ожидать, ЧК она преобразована в постоянный (уже не чрезвычайный) орган — Государственное политическое управление, или ГПУ (в самом деле — какое тоталитарное государство в состоянии обойтись без политической полиции!).

В связи с тем, что преобразованное ЧК — ГПУ ориентировано теперь преимущественно на политический сыск, особое внимание Ленин уделяет судам (как мы помним, о воспитательной их роли Ленин писал еще в 1918 году). 20 февраля 1922 года Ленин пишет письмо наркому юстиции Д. Курскому. Этот документ, условно названный «О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики», очень обширен, поэтому приведу только начало:

«т. Курский!

Деятельность Наркомюста, видимо, совсем еще не приспособлена к новой экономической политике.

Прежде боевыми органами Соввласти были главным образом Наркомвоен и ВЧК. Теперь особенно боевая задача выпадает на долю НКЮста; понимания этого, к сожалению, со стороны руководителей и главных деятелей НКЮста не видно.

Усиление репрессии против политических врагов Соввласти и агентов буржуазии (в особенности меньшевиков и эсеров); проведение этой репрессии ревтрибуналами и нарсудами в наиболее быстром и революционно-целесообразном порядке; обязательная постановка (театральная терминология здесь вполне уместна. — Ю. Г.) ряда образцовых (по быстроте и силе репрессии; по разъяснению народным массам, через суд и через печать, значения их) процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах; воздействие на нарсудей и членов ревтрибуналов через партию в смысле улучшения деятельности

судов и усиления репрессии; — все это должно вестись систематично, упорно, настойчиво, с обязательной отчетностью...

... где шум по поводу образцовых процессов против мерзавцев, злоупотребляющих новой экономической политикой? Этого шума нет, ибо этих процессов нет. НКЮст «забыл», что это его дело, — что не сумеет подтянуть, встряхнуть, перетряхнуть нарсуды и научить их карать беспощадно, вплоть до расстрела, и быстро за злоупотребления новой экономической политикой, это долг НКЮста. За это он отвечает. Ни капельки живой работы со стороны НКЮста в этой области не видно, ибо ее нет».

Комментировать этот документ у меня желания нет. Скажу лишь, что политик, считающий расстрелы живой работой, действительно способен на многое...

Если во время гражданской войны законы были не очень-то нужны, важнее любых законов считалось революционное правосознание, то теперь, в период «мирного строительства», наступило время разработки основ законодательства, в том числе и уголовного. Важность и неотложность этой задачи стала очевидной весной 1922 года в связи с намеченной на лето постановкой процесса над эсерами, обвиняемыми в тех грехах, за которые Советская власть их амнистировала еще в 1919 году (подготовка к процессу и сам процесс подробно рассмотрены в «Архипелаге» Солженицына). Ознакомившись в мае 1922 года с подготовленным Наркомюстом проектом Уголовного кодекса РСФСР, Ленин пишет две записки Курскому, в которых излагает свои замечания и разъяснения. В частности, он требует предусмотреть в кодексе расстрел (с заменой высылкой за границу) за любые виды деятельности в меньшевистских, эсеровских и т. п. организациях, то есть за любую политическую оппозицию. Но наиболее интересным в этих документах мне представляется обоснование террора, данное в письме от 17 мая:

«т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса. Набросок черновой, который, конечно, нуждается во всяче-

ской отделке и переделке. Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черныка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Сформулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого».

Таким образом, террор, в годы гражданской войны мера вынужденная, чрезвычайная, в 1922 году возводится в ранг официальной государственной политики. Обращает также на себя внимание решение Лениным труднейшей задачи законодательного оформления своего любимого детища, Диктатуры, которая, как мы помним, есть власть, опирающаяся на насилие и не ограниченная законами. Выход, обнаруженный Лениным, прост до гениальности: необходимо всего лишь максимально расширить толкование понятия террора в Уголовном кодексе.

Мощный репрессивный аппарат, политический сыск, терроризм как основа государственной политики — лишь средства поддержания тоталитарного строя. Главным же условием тоталитаризма является ликвидация в стране всяческого инакомыслия, всякого рода оппозиции — внутрипартийной, инопартийной, интеллектуальной и пр. Для проведения диктатуры партии, то есть для создания партokratического тоталитарного государства, в первую очередь необходимо обеспечить единомыслие внутри самой партии. Эта задача решалась Лениным уже в марте 1921 года, на X съезде РКП(б), который славен не только провозглашением новой экономической политики, но и резолюцией о единстве партии (о запрете фракций). Знаменательны слова Ленина, сказанные при открытии съезда: «Товарищи, мы пережили год исключительный, мы позволили себе роскошь дискуссий и споров внутри нашей партии». Очевидно, что роскошью дискуссии может казаться

только тому, кто уверен в своем знании окончательной истины, кто заранее узурен в бесплодности любых альтернатив, либо тому, для кого партийная диктатура превыше всего. Как бы то ни было, резолюция о единстве была принята; своему преемнику Ленин оставил великолепное оружие против любой внутривнутрипартийной оппозиции.

О борьбе против других партий уже сказано. Желавшие могут также ознакомиться с весьма красочными картинками из доклада Ленина на XI съезде партии, где Ильич живописует, как большевики будут расправляться с меньшевиками и эсерами, ежели те посмеют, ввиду нэпа, настаивать на своей правоте.

«О пулеметах речь идет для тех людей, которые у нас теперь называются меньшевиками, эсерами и которые делают вызовы о том, что вы, мол, говорите об отступлении к капитализму и мы говорим то же: мы с вами согласны! Мы это слышим постоянно, и за границей идет гигантская агитация, что большевики хотят меньшевиков и эсеров держать в тюрьмах, а сами допускают капитализм. Конечно, капитализм мы допускаем, но в тех пределах, которые необходимы крестьянину. Это нужно! Без этого крестьянин жить и хозяйничать не может. А без эсеровской и меньшевистской пропаганды он, русский крестьянин, мы утверждаем, жить может (как будто не замствование эсеровской программы по крестьянскому вопросу позволило большевикам удержать власть зимой 1917—1918 и весной 1921 годов! — Ю. Г.). А кто утверждает обратное, то тому мы говорим, что лучше мы все погибнем до одного, но тебе не уступим! И наши суды должны это понимать. Когда мы переходим от ВЧК к государственно-политическим судам, то надо сказать на съезде, что мы не признаем судов внеклассовых. У нас должны быть суды выборные, пролетарские, и суды должны знать, что мы допускаем».

В 1922 году пришло время очищения страны от интеллектуальной скверны. С августа и по конец года из страны были высланы, по разным оценкам, более трехсот крупнейших умов, отстаивавших святое право интеллигенции на независимость суждений, на критику государственной

власти. Нужно сказать, что высылка в страны, стонущие под гнетом капитала, из России, вот-вот строящей коммунизм, считалась тогда весьма суровым наказанием. Не случайно Владимир Ильич, предвидя, как по мере построения коммунизма высланные начнут всякими путями, правдами и неправдами, пытаться вернуться назад, предусмотрительно пишет в замечаниях на проект Уголовного кодекса: «Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы». Социолог Питирим Сорокин, философы Бердяев, Франк, Лосский, Булгаков, Ильин, Трубецкой, историки Кизеветтер, Флоровский, Мякотин, Боголепов, ректор Петроградского университета профессор зоологии Новиков, группа математиков во главе с деканом математического факультета Московского университета профессором Стратоновым, экономисты Зворыкин, Бруцкус, Лодыженский, Проколович, кооператоры Изюмов, Булатов, Кудрявцев . . . Полный список высланных еще не составлен.

В связи с тем, что начало высылки (август 1922 года) приходится на время болезни Ленина, многие представители апологетической ленинистики пытаются доказать, что такое стало возможным только из-за отсутствия вождя. На кого рассчитана такая байка? Во всяком случае, не на тех, кто учился в наших вузах и в обязательном порядке «проходил» статью Ленина «О значении воинствующего материализма», написанную и опубликованную журналом «Под знаменем марксизма» в марте 1922 года, то есть за полгода до начала высылки.

Каждый, кто удосужился дочитать эту статью до конца, знает, что вся заключительная часть ее посвящена предметному уроку «воинствующего материализма», а именно, разбору взглядов, точнее — брани в адрес «некоего г. П. А. Сорокина», осмелившегося на основании анализа статистических данных критически высказаться о политике государства в области семьи и брака. Того самого Сорокина, которым я и открыл список высланных*. Кончается статья Ленина недвусмысленно:

* Один из крупнейших социологов, ученый мирового масштаба. — **Прим. ред.**

«Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться не научился, ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов ученых общества давно бы вежливо препроводил в страны буржуазной «демократии». Там подобным крепостникам самое настоящее место.

Научится, была бы охота учиться». Особое историческое значение этой статьи Ильича даже не в том, что вот так просто может быть решена судьба выдающегося социолога, и даже не в том, что социология оказалась буржуазной лженаукой. Важно другое: советские обществоведы получили наглядный урок того, какая правда от них требуется. И надо признать, что за годы Советской власти способность теоретического обоснования любой фразы вождя, любого решения (вплоть до абсурдной идеи построения коммунизма в 20 лет) доведена нашими обществоведами прямо-таки до виртуозности.

Но статья «О значении воинствующего материализма» — это, так сказать, теория, подготовка общественного мнения. Ленин же, как известно, прежде всего практик. Появляется другой документ, уже секретный, датированный 19 мая 1922 года (за 3 месяца до начала высылки) и адресованный Дзержинскому.

«т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглумим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга (с 1920 г. — член коллегии ВЧК. — Ю. Г.), Манцева (в 1922 г. — председатель ЧК Украины, член коллегии ВЧК. — Ю. Г.) и еще кое-кого в Москве.

Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда писателей-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.).

Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и лите-

ратурной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.

Мои отзывы о питерских двух изданиях.

«Новая Россия» № 2. Закрыта питерскими товарищами.

Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Политбюро и обсудить внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из «Дня»? Нельзя ли о нем собрать сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидаты на высылку за границу.

Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд. XI отдела Русского технического общества (в этом журнале опубликована злополучная статья П. Сорокина. — Ю. Г.). Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! это *poťa bene!*) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение.

19.V. Ленин».

Как известно, высылка производится без суда, административным решением ГПУ, поэтому слова Ленина

о «законнейших кандидатах на высылку» приобретают особый оттенок.

Ленин, конечно, не построил тоталитарное государство, да и Сталину для этого понадобилось не менее десяти лет. Но особая «заслуга» Ленина в создании основ тоталитаризма в России, заложении его фундамента несомненна.

* * *

Перестройка в нашей стране фактически началась с отрицания ленинизма, его морального императива, — с признания примата общечеловеческих ценностей над классовыми. Отрицанием ленинизма (не путать с социализмом и коммунизмом) является все прогрессивное, что содержится в концептуальном оформлении перестройки, — отказ от диктата одной партии и переход (хотя и трудный) к многопартийности, построение правового государства, принцип разделения властей, признание многоукладности экономики (а не «поголовной кооперации») и частной собственности, гражданские свободы, презумпция невиновности в уголовном праве и т. д. Полноценной и необратимой перестройка может стать лишь при условии осознания краха ленинизма. В противном случае мы снова, как это не раз уже бывало, увязнем во лжи.

Ни Ленина, ни Сталина не вычеркнуть из нашей истории. Но и место им только там. Создание гуманного общества, демократического, правового, экономически развитого государства возможно только не на путях ленинизма-сталинизма.

ГИБЕЛЬ ГОСУДАРСТВА

25 октября 1939 года СССР навязал Латвии пакт о взаимопомощи, в результате которого она стала советским протекторатом. 29 октября сухопутные войска СССР (через железнодорожные станции Зилупе и Индра) начали прибывать в Латвию. Находившийся в Индре пост информационной службы штаба Латвийской армии вскоре стал посылать в Ригу тревожные сигналы: никто не мог точно сказать, какова численность вступивших в Латвию советских войск. Вооруженные Силы СССР прибыли на свою главную базу — в Лиепаю, внешний вид солдат, в сравнении с Латвийской армией, производил самое неблагоприятное впечатление. Политическая полиция констатировала: «Население проявляет особый интерес к выправке и строевому шагу наших (латвийских. — А. С.) солдат, сравнивает с выправкой солдат СССР, и сравнение это не в пользу русских». Очевидно, внешний вид и поведение красноармейцев вызвали оживленный обмен мнениями и в Латвийской армии, ибо ее командующий генерал Беркис и начальник штаба генерал Розенштейнс в секретном циркуляре от 7 ноября 1939 года приказывали: «В разговорах между собой наши солдаты должны воздерживаться от оскорбительных и неприязненных замечаний в адрес советской армии».

Советские военные были шокированы изобилием товаров в магазинах Латвии. Произошло то, о чем уже 21 октября сообщал из Эстонии посол В. Шуманис: началась лихорадочная скупка товаров. В. Шуманис писал министру иностранных дел В. Мунтеру, что «первые моряки (советские. — А. С.) пришли в магазины за сапогами в сопровождении послуживцев, которые должны были засвидетельствовать, что сапоги им действительно нужны. Покупатели были приятно поражены, когда им заявили, что не нужны ни свидетели, ни особые удостоверения, подтверждающие необходимость сапог».

В Латвии наибольшим спросом пользовались синяя костюмная ткань, ручные часы, велосипеды и обувь. Мануфактура покупалась в таком количестве, что у жителей Латвии возникла тревога: а хватит ли ее для них самих. Особенно радовались неожиданным покупателям владельцы многочисленных мелких еврейских лавок. Это даже побудило лиепайского раввина Нурока 17 ноября 1939 года обратиться в синагоге к верующим с просьбой быть лояльными гражданами Латвии, особенно при встречах с советскими военными.

Пребывание советских войск в Латвии создало немало бытовых проблем. Министерство внутренних дел 2 февраля 1940 года отмечало: «Многие автомобили, принадлежащие армии Советского Союза, все еще разъезжают без номеров. Из-за неумелого и безответственного вождения русские часто попадают в аварии, в которых материально и физически потерпевшими оказываются наши жители». Различие в культуре, уровне жизни и быта были столь заметны и вызывали в Латвии столь сильное удивление, что Министерство иностранных дел Латвийской Республики, информируя об этом послов за рубежом, 22 декабря 1939 года отмечало: «Советские солдаты говорят, что народ у нас бедный, ибо он не способен раскупить все товары, имеющиеся в магазинах (! — А. С.). . . В происшествии, имевших место ранее, видимо повинна «широкая натура» русских, на которой большевизм оставил след известной революционной бравады, и она подчас, не без определенной дикости, прорывается наружу под влиянием алкоголя. Советскими учреждениями предприняты шаги по предотвращению контактов подвыпивших советских военных с нашим гражданским населением».

20 ноября 1939 года кабинет министров Латвии назначил старшего агронома Министерства земледелия

Крисберга председателем комитета по снабжению советских гарнизонов. В обстановке вспыхнувшей в Европе мировой войны экономика Латвии уже начала испытывать серьезные трудности, однако советские гарнизоны обеспечивались превосходно. Подобного снабжения советские военные в жизни не видавали. Например, в апреле 1940 года Латвия поставила мяса, масла, молока, яиц — по 1-й группе на 259 058 латов; овощей, фруктов (включая лимоны) — по 2-й группе на 72 604 лата; колбасы (в том числе копченной), ветчины, пива, лимонада — по 4-й группе на 30 304 лата, обуви и модных (!) товаров — по 12-й группе на 3766 латов. Поставки латвийских товаров и услуг охватывали всего 23 группы товаров. За первые четыре месяца 1940 года советские военные для личных нужд закупили различных предметов на 594 997 латов. Наибольшая сумма была ими израсходована на приобретение велосипедов. Был случай, когда советский солдат, ослепленный всем этим изобилием, удрал из части и выразил желание остаться в Латвии. Но местные власти, испугавшись ответных мер, отправили солдата обратно в часть. Нетрудно представить себе, какая судьба ждала его.

Утром 30 ноября советские войска вторглись в Финляндию, военно-воздушные силы СССР бомбили Хельсинки и другие финские города, убивая мирных жителей. Особенно пострадали небольшие города, поскольку противовоздушной обороной хорошо были защищены только Хельсинки и Випури. В маленьких городах, где было много деревянных домов, в результате бомбардировок возникли пожары.

Второй, наиболее тяжелый налет состоялся 13 января 1940 года. Тогда пострадал центр Хельсинки. Бомбы падали вблизи Латвийского посольства. К счастью, его не постигла участь посольства в Варшаве, которое 16 и 18 сентября 1939 года было уничтожено немецкой авиацией...

Положение Латвии, так же как Эстонии и Литвы, после агрессии СССР против Финляндии стало весьма щекотливым. Правда, 1-я статья договора от 5 октября 1939 года позволяла Латвии оставаться нейтральной и не обязывала ее защищать «жертву агрессии» — СССР, но впол-

не обоснованно приходилось считать — с ростом давления со стороны Советского Союза. Однако Советское правительство не принуждало Прибалтийские страны к объявлению войны Финляндии. Тем не менее уже в начале декабря 1939 г. возникли некоторые проблемы военного и дипломатического характера. В. Шуманис докладывал 5 декабря В. Мунтерсу, что, во-первых, в Эстонии допускают мысль, что Финляндию бомбят (летчики СССР. — А. С.) с баз, расположенных на территории Эстонии... Во-вторых, русские летчики, боясь бомбить Финляндию, сбрасывают бомбы в море; 6 бомб сброшено на эстонский остров Найссаар. Эстонцы не предали этот инцидент гласности, однако дело было серьезное. Финны в ответ на налет с территории Эстонии сбросили 27 декабря 9 бомб на важный для эстонцев маяк на острове Вайдло... А русские 29 января 1940 года — быть может, по ошибке — сбросили 35 бомб вблизи эстонского поселка Конувере.

Латвия также боялась оказаться вовлеченной в этот военный конфликт. В конце декабря 1939 года близ Цесиса совершил вынужденную посадку советский самолет. «Откуда он прилетел, пока точных сведений нет. По одной версии — из Финляндии, по другой — он будто бы взлетел с одной из баз в Эстонии и заблудился», — констатировало Министерство иностранных дел 29 декабря. «Военное министерство сначала хотело отправить этот самолет русским на границу с Советским Союзом. Представитель торгпредства, прибывший по случаю аварии, требовал «отпустить» самолет, чтобы тот мог лететь на базу в Лиенаю. Вопрос улажен путем компромисса — к самолету прибыли механики с советской базы со своим бензином, и самолету разрешили лететь в Советский Союз», — отмечается в отчете Министерства иностранных дел...

К проблемам военного характера прибавились и дипломатические. 3 декабря представитель Финляндии в Лиге Наций Р. Холсти вручил генеральному секретарю этой организации Жозефу Авенёло просьбу созвать совет и пленарное заседание Лиги Наций и предпринять все необходимые шаги к прекращению агрессии. Прибалтийские страны попали



Советские танки в Риге вблизи вокзала. 17 июня 1940 года

в неловкую ситуацию: весь демократический мир осудил агрессию, они же были сателлитами СССР и боялись прогневить могучего соседа. 14 декабря 1939 года СССР за неспровоцированное нападение на другое государство — члена Лиги Наций был исключен из сообщества. Страны Прибалтики официально воздержались от голосования. Однако В. Молотов был недоволен прессой Латвии и Литвы. В беседе с послом Литвы в Москве Л. Наткявичусом он в конце декабря 1939 года высказал упрек в адрес латвийской и литовской печати (особенно еврейских газет этих стран) в том, что к финнам они проявляют доброжелательность, а к СССР — «отвратительное отношение». Латвийское Министерство иностранных дел с опасением констатировало, что «положение прессы не из легких — русские о военных действиях передают лишь короткие сообщения, а финны намного более подробные; кроме того, из Финляндии поступают сообщения иностранных агентств и специальных корреспондентов газет». Официально занимая будто бы нейтральную позицию, министр иностранных дел Латвии В. Мунтерс не отказывался от конфиденциальных дипломатических ме-

роприятий в пользу СССР, стремясь угодить советским руководителям. Посольство СССР с послом Деревянским, секретарем посольства Ярцевым, резидентом службы разведки покинуло Хельсинки, а 22 декабря В. Мунтерс телеграфировал послу Латвии Я. Тепферу в Хельсинки: «Советское правительство просит установить контакт с двумя работниками посольства — Аваевым и Колчевым, оставленными для охраны посольства, выяснить, как у них дела, грозит ли им какая-нибудь опасность и есть ли у них возможность уехать каким-либо путем. Отъезд все же не может состояться без особого распоряжения, которое, возможно, поступит через Вас». Уже на следующий день Тепфер, которого это задание отнюдь не привело в восхищение, ответил: «Установить прямой контакт невозможно. Телефон не отвечает, двери, ворота на запоре. Единственная возможность — обратиться через администрацию. Сообщите, можно ли, хотя задание чрезвычайно затруднит положение нашего посольства». В. Мунтерс, однако, не унимался. 28 декабря он снова телеграфирует в Хельсинки: «Сделайте еще одну попытку через двери, ворота. С финскими учреждениями без моего указания не вступать в связь».

Я. Тепфер 30 декабря уже злится: «Обе двери, ворота опечатаны. Телефон отключен, сигнал не действует. Вряд ли там кто живет. Дальнейшие попытки невозможны, они лишь скомпрометировали бы посольство».

В. Мунтерс был вынужден учесть предупреждение посла: «Прекратите попытки, но при возможности узнайте, что случилось с двумя упомянутыми работниками. Понимаю Ваши соображения, но если можно что-либо выяснить, это будет большой услугой». (Кому? Советскому правительству? — А. С.) Как видим, наличие посольства Латвии в Хельсинки могло быть выгодным для СССР. Но в то же время в конце декабря советский посол в Риге И. Зотов в частной беседе с Мунтерсом дал понять, что Союзу хотелось бы, чтобы Латвия признала териокское «правительство» О. Куусинена. Однако серьезного нажима в этом смысле, очевидно, не последовало, и Латвия сохранила отношения с законным финским правительством. Лига Наций призвала страны мира оказать Финляндии всю возможную помощь. Латвия же опасалась сделать что-нибудь в пользу финнов. Министерство иностранных дел 31 января 1940 года отмечало:

«Мы не участвовали ни в дискуссиях по поводу заявления Финляндии в Женеве, ни в голосовании за резолюцию и поэтому ничего не можем сделать для выполнения принятой резолюции».

Финляндия тем временем переживала большие трудности с продуктами питания, и правительство Латвии стремилось тайно сохранять торговые отношения с финнами. 1 февраля 1940 года В. Мунтерс телеграфировал Тепферу:

«Сообщите секретно фирме «Матти Паяри» в Хельсинки, которая хочет у нашего бюро по зерну купить рожь, что мы можем её продать не непосредственно финской фирме, а только через какую-нибудь шведскую фирму с отправкой зерна пароходом в Швецию». В Стокгольме фирма «Олсон» согласилась посредничать в доставке 5000 тонн латвийской ржи Финляндии.

Поистине серьезную и ценную помощь финнам оказывал радиоотдел Информационной службы Латвийской армии. Его руководитель капитан Карлис Порьетис представил достаточно обширные сведения об этом. К. Порьетис писал, что еще до советско-финской войны отделу военной ра-



Танки Красной Армии в центре Риги. Июнь 1940 года

диоразведки удалось расшифровать несколько военных кодов НКВД, а также общевойсковой шифр Красной Армии, который применялся всеми родами войск во всех военных округах, но с разным ключом. С началом агрессии СССР против Финляндии, по инициативе руководства Латвийской армии (скорее всего — К. Беркиса, ибо К. Пориепис конкретные имен не называл), радиоотдел перешел к пеленгации русских радиостанций и расшифровке радиogramм. После расшифровки первых же радиogramм выяснилось, что русские на финском фронте в радиосвязи применяют свой код мирного времени. Расшифрованные радиogramмы представлялись финнам, которые узнавали из них о направлении движения войск противника, их мощи, задачах, а также о положении окруженных сил и их снабжении. Служба дешифровки штаба Латвийской армии оказывала финнам очень большую помощь информацией о положении противника, особенно к северу от Ладожского озера, где финны и добились блестящих успехов. В свою очередь на Карельском перешейке русские части были сконцентрированы на небольшом пространстве, и там радио применялось мало, так как можно было использовать другие средства связи. К. Пориепис считал, что латыши помогли финнам достичь успехов 5 января 1940 года против 18-й советской дивизии к северу от Кители; 11 января против 168-й дивизии под Кители; против 139-й дивизии под Толваярви, против 75-й русской дивизии, шедшей на помощь 139-й дивизии; против 155-й дивизии под Июматси; против 163-й и шедшей ей на помощь 44-й дивизии к северу от Суомиссалми (этой победой финны предотвратили угрозу расчленения Финляндии на две части, когда советские войска двигались на Оулу, что на берегу Ботнического залива); против 54-й дивизии под Кухмо и против лыжной бригады полковника Далина.

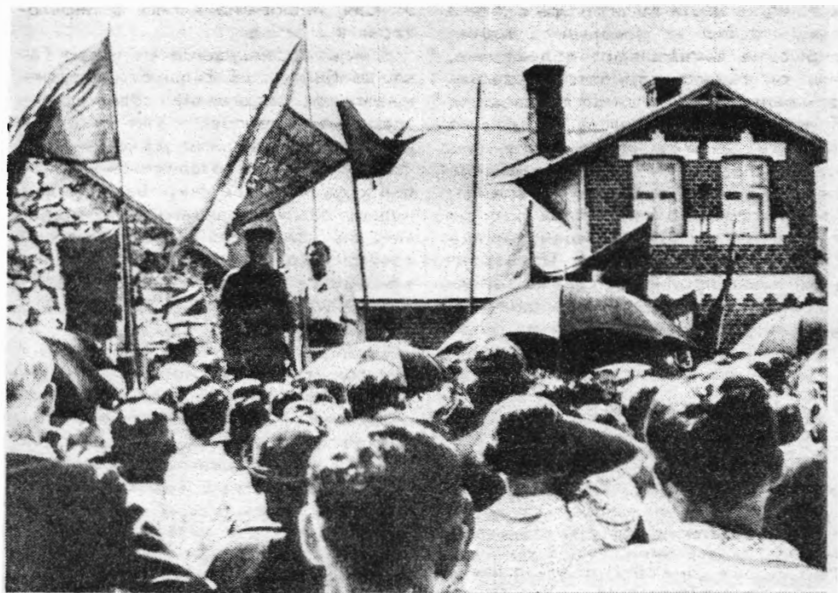
То была поистине серьезная практическая помощь, которая, правда, оказывалась тайно, несмотря на призыв Лиги Наций ко всем странам: помочь жертве агрессии — Финляндии. Будучи протектором СССР, Латвия открыто помочь ей уже не могла. Секретная же помощь была

весьма полезной, «за полученную поддержку финны были нам очень благодарны», — писал К. Пориепис.

Ночью на 12 марта финны капитулировали и подписали в Москве мир. Очевидно, еще 11 марта правительство Латвии должно было считаться с наимудшим исходом: разгромом Финляндии, падением Хельсинки. 11 марта Тепфер, выполняя указания Мунтерса, в присутствии секретаря посольства Зирниса уничтожил в помещении посольства секретную переписку, относящуюся к периоду с 5 декабря 1939 года по 11 марта 1940 года. Латвийскому правительству пришлось также закрыть свое консульство в Виипури, ибо город заняли русские и он теперь стал Выборгом, и освободить почетного консула Латвии Генри Хагмава, гражданина Финляндии, от занимаемой должности. Разумеется, это было не слишком серьезной потерей. 14—16 марта в Риге состоялась последняя конференция министров иностранных дел Прибалтийских стран, которая с удовлетворением констатировала, что наступил мир между СССР и Финляндией. Конференция выразила готовность к дальнейшему развитию торговых, культурных и научных связей с СССР. Латвия готовила свою книжную выставку в Москве в начале апреля, затем — выставку, посвященную народному здравоохранению и охране труда, а 7 мая в Риге намечался концерт в ознаменование 100-летия со дня рождения П. И. Чайковского.

Тревога о будущем, однако, не покидала К. Улманиса. В конце марта 1940 года по его заданию вдова бывшего директора государственной канцелярии Д. Рудзитиса, а затем министр общественных дел А. Берзиньш посетили знаменитого рижского ясновидящего Э. Финка и спросили его о будущем Латвии. «Латвия есть и будет свободной», — ответил прославленный прорицатель. И прорицатели, как мы видим, могли ошибаться...

Тем временем в Москве разрабатывались иные планы, в которых Чайковскому не оставалось места. Поначалу неудача в Финляндии отсрочила гибель прибалтийских стран. Теперь это время пришло. Западные державы с апреля 1940 года завязли в войне, которую уже никто не назвал бы



Митинг в г. Пļавиņas в связи с вступлением Красной Армии в Латвию. Июнь 1940 года

странной. Будто в насмешку над дружественностью литовцев к России, Сталин начал уничтожение самостоятельности стран Прибалтики именно с Литвы. 3 мая посол СССР в Каунасе Н. Поздняков пытался выпытать у директора политического департамента Министерства иностранных дел Литвы Э. Тураускаса, не заключила ли Литва военной конвенции с Латвией и Эстонией? Тураускас ответил, что никакой конвенции нет, что о ней и речи не было. Вечером 25 мая литовский посол в Москве Л. Наткявичус выдал въездную визу заместителю народного комиссара обороны СССР генералу А. Лактионову, который якобы отправлялся в инспекционную поездку по советским гарнизонам в Литве, а фактически должен был вести подготовку к ее оккупации.

Поздним вечером того же дня Л. Наткявичус был вызван к Молотову. Против правительства Литвы выдвинули обвинение в насильственном похищении двух советских военных. 29 мая ТАСС опубликовал выдержанное в грубых тонах лживое заявление

о похищении водителей танковой бригады Шмаговца («исчез» в период с 18 по 26 мая) и Писарева («исчез» с 24 по 27 мая) и убийстве 12 мая младшего офицера Бутаева. Согласно заявлению ТАСС Бутаев исчез еще в феврале, а застрелен был 12 мая. Ни во время исчезновения, ни в «день убийства» Советское правительство шума не подняло, а теперь для оправдания будущей оккупации Литвы фабриковалась одна ложь за другой. 4 июня Молотов потребовал немедленного прибытия литовского премьера А. Меркиса в Москву. В тот же день Народный комиссар обороны СССР Тимошенко в беседе с Л. Наткявичусом предусмотрел урегулирование «инцидента» мирным путем, а о Бутаеве сказал: «обыкновенная сволочь». 7 июня, когда Меркис прибыл в СССР, на границе экзаквешники грубо обыскали его купе, а на вокзале в Москве премьера демонстративно встречали чиновники более низкого ранга. Молотов утверждал, «что младшего офицера Бутаева застрелили литовцы... В конце мая

в Алитусе какой-то аптекарь в своем саду стрелял из револьвера ворон, а русские высказывают подозрение, что он пытался стрелять в красноармейцев, находившихся поблизости. В начале июня литовцы выслали из Алитуса каких-то пятерых женщин, которые стирали красноармейское белье: у полиции было подозрение, что они попутно занимались проституцией*. И вот этих женщин русские якобы требуют обратно. Приведенные случаи проливают свет на характер претензий русских», — докладывал в Ригу посол Латвии в Литве

* Эти прачки и в Латвийской республике находились под наблюдением. 12 апреля 1940 года директор департамента порядка Министерства внутренних дел А. Ауструмс отмечал, «... что у этих прачек происходят пьянки, во время которых советские офицеры становятся весьма откровенными. Так, 5 апреля в Вентспилсе в доме № 21 по улице Лиела к жене Доната Трушелюса, прачке, явился какой-то советский лейтенант. Они выпили, и офицер сообщил Трушелюсу: «Через три месяца Латвия будет наша».

Л. Сэя, информируя Ригу о переговорах в Москве.

8 июня французское агентство Гавас сообщило: «В Вильнюсе продолжается расследование советско-литовских инцидентов... Уже предприняты некоторые шаги: усилен надзор полиции в местах, расположенных поблизости от советских баз, усилен надзор за иностранцами и, наконец, введены изменения в процедуру выдачи виз. Кроме того, проживающим в Вильнюсе польским беженцам дано распоряжение покинуть город до 15 июня».

Бедные поляки! СССР и Германия уничтожили их государство, осуществив в сентябре 1939 года четвертый раздел Польши. Теперь полякам не давали покоя даже в Литве, где власти в поисках лиц, совершивших «преступление» против советских военнослужащих, стали в этом подозревать поляков.

9 июня состоялась вторая беседа Молотова с Меркисом. Теперь Молотов «предлагал» целый букет «нарушений». Л. Сэя 11 июня информировал Мунтерса: «Молотов гово-



Советские самолеты над Ригой. Июнь 1940 года

рил об отношениях Литвы с Латвией и Эстонией. Он нашел в этих отношениях несколько неясных и даже подозрительных моментов. Насколько известно в Каунасе, Молотов упоминал следующее: 1) конференции министров иностранных дел Прибалтийских государств участились; 2) Литва заключила с Латвией и Эстонией конвенции военного характера; 3) состоялась назначение литовского военного атташе в Таллинне и эстонского — в Каунасе; 4) состоялись взаимные посещения высоких военных деятелей; 5) премьер-министр Меркис опубликовал в таллиннской газете «Балтик таймс» показательную статью...» Эти «обвинения» были смехотворными. Меркис в своей статье призывал к более тесным культурным связям между народами Прибалтики, а встречи дипломатов и военных деятелей во время войны были вполне нормальным явлением. Никаких военных или других альянсов между всеми странами Прибалтики не существовало, Эстония, Литва и Латвия не были способны даже защищать самих себя, не говоря уже о каких-то угрозах в отношении СССР.

11 июня Меркис в третий раз встретился с Молотовым. 12 июня в полдень он вернулся в Каунас и несколько часов спустя принял Л. Сэю. Меркис проинформировал его о последней беседе с Молотовым: ничего нового. Продолжается пересказывание старых историй, особенно различных случаев с красноармейцами. Разговор с Молотовым всегда бывает чрезвычайно тяжелым, а атмосфера как «на Лубянке»...

Латвийский консул в Вильнюсе Ф. Донас в свою очередь сообщил 12 июня, что до последних событий «в литовском обществе высказывались мысли о том, что большевики являются друзьями Литвы. Поэтому нота СССР 29 мая сего года произвела на литовскую общественность впечатление грома среди ясного неба. Большое волнение возникло и в среде нелитовцев... В стремлении доказать свою добрую волю и искреннее желание найти виновных полиция проводит в предместьях Вильнюса по ночам облавы, охватывающие целые районы города». 14 июня поздним вечером Молотов в Кремле вручил министру иностранных дел Литвы

Урбшису ультиматум, принять который надлежало к 10 часам утра: Литве следовало сформировать новое правительство и впустить в страну советские войска в достаточном (!?) количестве.

15 июня началась оккупация Литвы, примерно в 17.15 Каунаса достигли первые советские бронемашины и легкие танки, а президента Сметоны уже не было в столице. Не рассчитывая на милость оккупантов, президент незадолго до прихода советских войск в Каунас отправился в изгнание. Вечером 15 июня в Каунас прибыл В. Деманов, заместитель комиссара иностранных дел, начавший формировать новое литовское правительство и ставший фактическим губернатором.

Л. Сэй передал в Ригу: «Толпа дружелюбно отнеслась к войскам, но какого-либо восторга не проявляла, за исключением некоторых мест в Старом городе, где компактной массой живут евреи. Они очень старались показать войскам свое расположение, в то время как настоящие литовцы были значительно сдержаннее».

Если бы сдержанные и все же дружелюбные литовцы знали, что их ждет в ближайшем будущем, какую судьбу их стране готовят подручный Берии Деманов!

По сведениям германского военного атташе в Литве полковника Юста, «на 27 июня число вторгшихся в Литву советских войск достигало уже 100 000 человек. И они все продолжали прибывать».

Следующей была Латвия. 16 июня в 13.00 гаслу Латвии в Москве Ф. Коциньшу было предписано через час явиться в Кремль, где Молотов зачитал ему советский ультиматум. Молотов потребовал отставки латвийского правительства и заявил, что переговоры с К. Улманисом о формировании нового правительства будут вести либо посол СССР в Риге В. Деревянский, либо специально уполномоченное на это лицо. В Латвию немедленно будут введены войска в количестве двух корпусов... Вечером 17 июня Ф. Коциньш в Москве провожал заместителя Молотова А. Вышинского, выезжавшего в Ригу наблюдать за ходом оккупации. На вокзале генеральный секретарь комиссариата иностранных дел Соболев и заведующий отделом Прибалтий-

ских государств Лисьяк, также проводившие А. Вышинского, зверь ли, что ввод советских войск в Латвию протекает в образцовом порядке.

Латвийское правительство вполне обоснованно отказалось от сотрудничества, которое привело бы к кровопролитию, но все равно не спасло бы страну от гибели. Так же как в Литве, где советские войска, начавшие быстрое продвижение в Каунасу, чтобы по возможности быстрее оккупировать его и взять в плен президента Сметону, шли со своих баз в Гайжуняи, Пренае, Алитусе, то есть

с территории Литвы, так и в Латвии, не дожидаясь воинских соединений из СССР (которые должны были начать поход 17 июня в 5 часов утра), советские танковые части вечером 16 июня и в ночь на 17 июня вышли со своих баз в Вентспилсе и начали движение на Талсы и дальше на Ригу...

В годы второй мировой войны многие государства были временно оккупированы и утратили свою независимость. Все они обрели ее после войны, все, за исключением трех... Эстонии, Латвии, Литвы...

ВОСПОМИНАНИЯ

ОФИЦЕРА ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ШТАБА ЛАТВИЙСКОЙ АРМИИ КАПИТАНА КРИМУЛДЕНСА О 17 ИЮНЯ 1940 ГОДА

14 или 15 июня из Москвы возвратились командующий армией генерал Беркис и адъютант полковник-лейтенант Осис, гостившие в СССР по приглашению Советского правительства. Позже адъютант говорил, что в Москве им был оказан любезный прием, да и на обратном пути каких-либо подозрительных перемещений войск они не заметили. Правда, на одной из станций видели воинский эшелон, но не придали этому значения.

Утром 16 июня, явившись в оперативную часть штаба армии, я застал там все высшее начальство, вызванное ночью по тревоге дежурным офицером. Из штаба пограничников сообщили, что ночью подразделения Красной Армии (в составе батальонов и рот) перешли во многие местах границу, застигли наши небольшие пограничные страды спящими, разружили их, многих увели с собой, а заставы подожгли. Были и столкновения, есть убитые и раненые. В течение дня поступали все новые сведения о концентрации и передвижении Красной Армии на наших восточных рубежах.

После обеда начальник оперативной части полковник Удентиньш доложил о полученной телеграмме-ультиматуме правительства Советского Союза. В ней говорилось о том, что на нескольких военнопленных Советской Армии, выходящих за территорию расположенных в Кур-

земе баз, было совершено нападение. Советский Союз не может доверять правительству Латвии, осуществляющему враждебную политику в отношении СССР, поэтому в интересах собственной безопасности СССР требует расширения баз советских вооруженных сил и формирования приемлемого для него правительства Латвии. В связи с этим предлагалось направить военную комиссию для рассмотрения и решения вопроса о расширении баз. Комиссии следует прибыть на станцию Бигосово 17 июня в 9.00.

Председателем комиссии был назначен полковник Удентиньш. Он в свою очередь назначил членами комиссии начальника оперативного отдела полковника-лейтенанта Упита, от отдела связи — полковника-лейтенанта Рониса и капитана Кагуса, от служебной части — меня, от штаба технической дивизии — капитана Перевозчикова. Выезд назначен на 23.00 того же вечера.

Выехали на двух легковых машинах по Даугавпилсскому шоссе. В Плявияс нас остановил генерал Эзериньш (в то время помощник командующего Латгальской дивизией) и заговорил с сидевшим в первой машине Удентиньшем. По тону разговора и долетевшим до нас фразам можно было понять, что генерал Эзериньш намеревался объявить мобилизацию и выдвинуть на позиции отряды прикрытия. Полковник Удентиньш его

успокаивал, передал приказ президента страны: мобилизации не предпринимать и оружия не применять. Генерал Эзериньш ушел неудовлетворенным и весьма встревоженным.

В Крустпилсе машины остановил офицер-связист. Он передал телеграмму штаба армии, в которой говорилось о смене места переговоров. Нам следовало прибыть на станцию Ионишки в Литве.

Около Мейтене пересекли границу и вскоре встретили первое подразделение советских вооруженных сил. Это была понтонная колонна (!). Затем показались и танки. Нас никто не задерживал.

Ровно в 9.00 въехали на станцию Ионишки, но никого из советских военных здесь не было. Прождали минут 20, после чего Удентиньш приказал полковнику-лейтенанту Ронису найти кого-нибудь из советского командного состава. Минут через пять Ронис вернулся вместе с неким лейтенантом, который и потребовал, чтобы мы следовали за ним.

Приблизительно в километре от станции мы увидели двигавшиеся навстречу бронемашины, с ними были и легковые автомобили с советскими офицерами. Приблизившись к нам, колонна остановилась, и офицеры вышли из машин. Полный, высокий, плечистый генерал-полковник спросил, кто из нас старший. Удентиньш представился, и тогда генерал подал ему руку. (Это был командующий Белорусским военным округом Павлов, именно он возглавлял те силы, которые оккупировали балтийские государства.) Было решено, что переговоры все же состоятся на станции Ионишки, и генерал приказал нашей машине следовать впереди. Советские бронемашины встали впереди и позади нас, повернув стволы в нашу сторону, таким образом мы напоминали пленников.

Подъехали к станции. Одна из бронемашин встала напротив окон станции, направив дуло в сторону той комнаты, в которой велись переговоры. Остальные машины заняли позиции вокруг здания. У дверей и окон была выставлена охрана, а начальнику станции было приказано освободить помещение буфета.

Официальные переговоры длились примерно с 9.40 до часов 12—13. Кроме генерала Павлова в перегово-

рах участвовали 15—20 офицеров штаба. Но говорили в основном только Павлов и Удентиньш.

Генерал Павлов вел себя высокомерно, держался гордо, говорил спокойно, но повелительно. Он повторил текст ультиматума, сказал о необходимости расширить советские военные базы на территории Латвии. Размещенные на базах вооруженные силы, мол, не будут вмешиваться во внутренние дела Латвии. На карте Латвии Павлов красным карандашом кругами и эллипсами обозначил районы размещения советских соединений. Удентиньш и Ронис пытались эти районы уменьшить, говоря, что там уже находятся наши части, что нет помещений и т. д. Кое в чем Павлов уступал. Были решены вопросы снабжения советских частей продовольствием и некоторые другие, запротоколировали даже линии (номера) связи, которые будут переданы в распоряжение советских вооруженных сил. Павлов хотел, чтобы в протокол все заносилось в самых общих чертах, а Удентиньш и Ронис пытались все предельно детализировать и конкретизировать.

Во время разговора регулярно поступали сведения от соединений, которые со стороны наших восточных и южных границ по всем главным путям сообщения двигались к Риге. Докладывалось о достижении намеченных рубежей, а также о том, что выстрелов не отмечено. Пришло и сообщение об аварии некоего самолета. Павлов иронично бросил: «Это, видимо, вас обрадует — потерпел аварию самолет, которому было приказано в случае необходимости сбросить бомбы на дворец вашего президента».

Наконец Павлов и Удентиньш подписали протокол.

Павлов вызвал эконома станции и поинтересовался, чем он может угостить мужчин. Тот подал меню с длинным перечнем блюд и напитков. Начались неофициальные застольные разговоры. Павлов вел себя хвастливо, самоуверенно. «Меня удивило, — признался он, — что от Латвии встречать меня являлась комиссия из младших офицеров во главе с полковником. С литовской стороны меня встречали высшие генералы и продиктованные мною условия приняты за полчаса. А латвийский полковник

спорил со мной три часа. Ну, заставил я вас подождать каких-нибудь полчаса, но, думаю, это полагается мне по служебному положению. Ничего, полковник, мне это понравилось и ничем плохим для вас не отзовется. Я позабочусь, чтобы вам всем были присвоены звания и должности».

На столе появились все новые бутылки — коньяк, водка, ликеры. Генерал и его офицеры пили охотно и много. Павлов подробно рассказывал о войне с финнами. Полковник Удентиньш заинтересовался: «А какими будут наши дальнейшие отношения и каковы ваши планы?»

«Нынешнее правительство Улманиса и его политика для нас неприемлемы. У вас будет новое, дружественное нам правительство, а наши армии станут союзниками. Мы вооружим вас современным оружием с ног до головы», — ответил Павлов.

Павлов пил много и скоро основательно набрался. Двое штабистов вывели его под руки на улицу «по нужде», и когда он вернулся к столу, голос его звучал все тише и тише.

Около 15 часов пришло сообщение, что все намеченные цели достигнуты — без столкновений и без единого выстрела. Мы смогли вернуться домой. На южной окраине Риги видели отдельных людей, выходящих на до-

рогу с цветами — приветствовать красноармейцев. В Риге на перекрестках стояли танки. Где-то в стороне Рижского центрального вокзала и консерватории были слышны выстрелы. Позже я узнал, что там из толпы были убиты несколько полицейских.

Приехали в штаб армии. Удентиньш доложил начальнику штаба генералу Розенштейнсу и командующему армией Беркису о переговорах. Мне было поручено доставить договор президенту. Вокруг президентского дворца стояли советские танки, на Даугаве выстроились советские военные корабли — орудия были направлены на дворец.

Мы въехали во двор. Офицер охраны провел меня по коридорам в приемную президента. Президент выглядел спокойным.⁵ Он принял пакет, поблагодарил меня. Я вернулся в штаб.

Штаб армии прекратил свою деятельность. Секретные документы были уничтожены. Армия переименована в Народную армию. Улманис вывезли, а президентом назначили профессора Кирхенштейна. То был короткий переходный период. Вскоре Народная армия была ликвидирована и сформирован так называемый Латышский территориальный корпус.

ВОСПОМИНАНИЯ

СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ПЕТЕРИСА САРКАНСА О СОБЫТИЯХ В ЛИТЕНЕ

П. Сарканс родился в 1913 г. В 1937 г. окончил военное училище. Служил в 7-м Сигулдском пехотном полку, штабе Латгальской дивизии. В 1940 г. — старший адъютант батальона связи Народной армии, затем командир разведотряда 285-го стрелкового полка 24-го территориального корпуса Красной Армии.

В конце мая 1941 года наш полк был направлен в Литенские лагеря. 13 июня сменился командир полка. На место полковника-лейтенанта Приедитиса пришел капитан Федоров. Состоялся парад, который приняли Приедитис, Федоров и комиссар Рябчев. После парада нам было сказано, что всем офицерам следует явиться в штаб 14 июня в 14.00 для встречи с новым командиром. Мы разошлись по домам (большинство офицеров жили вне лагеря). На следующий день я засомневался, стоит ли идти в штаб, поскольку отец очень звал меня домой. Но чувство долга пересилило.

Полковой комиссар отметил по списку мое прибытие. Я спросил, в каком снаряжении следовало явиться и нужно ли брать с собой питание. Мне ответили, что состоятся показательные ночные учения, которые возглавят высокопоставленные офицеры из Москвы, и утром мы уже вернемся. Были поданы крытые брезентом армейские машины. Увидев, что большинство уже явилось (некоторые находились в командировках, отпусках), комиссар дал команду: «По машинам!»

И мы поехали. Направления я не смог определить, так как машины были крытыми. По дороге капитан Бергс

сказал, что в Гулбене нас уже ждут зарешеченные вагоны. Но мы этому не поверили.

Ехали недолго. Остановились возле какого-то леса, по команде вылезли из машин. «В колонну по два стройся!» В голове колонны встали Федоров, Рябчев и некто в гражданской одежде. Вошли в лес. Здесь по обеим сторонам дороги стояли солдаты НКВД с автоматами и винтовками. Через некоторое время прозвучала команда: «Первая шеренга налево, вторая — направо» (т. е. встать спиной друг к другу). Командир взял полевую сумку, посмотрел куда-то и отдал приказ: «Господа офицеры, наша сегодняшняя задача — руки вверх!» Из леса выскочили солдаты и приставили каждому к груди автомат или штык. Рядом со мной стоял старший лейтенант (кажется, его звали Фелдманис). Он чуть пошевелился, тогда один из солдат ударил его прикладом по голове. Тот упал весь в крови. Один из политруков вытащил пистолет и пристрелил его.

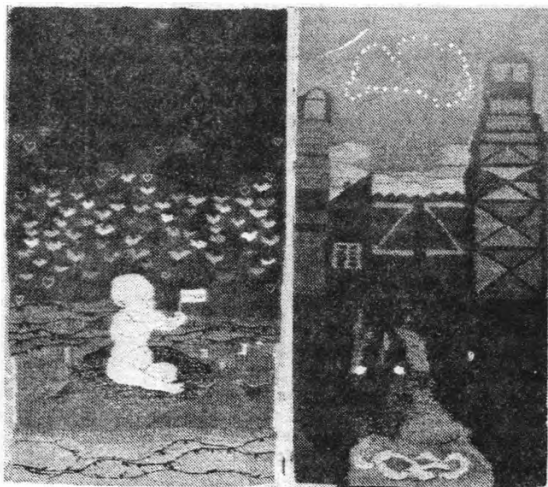
Нельзя было даже головой пошевеливать. Всех заставили лечь на живот и вытянуть руки. А на опушке леса стояли пулеметы. С нас срывали петлицы, знаки различия, отбирали со-

держимое карманов — деньги, часы, носовые платки и т. д. В этот момент на дороге показался крестьянин на лошади. Его остановили, увели, слышались выстрелы.

Позже подъехали открытые грузовики. Нас разместили в них: первой четверке сесть спиной к борту, следующим — на колени к первым и т. д. У кабины стояли люди из НКВД. Отвезли на станцию Гулбене, где стояли зарешеченные вагоны, куда нас и завели. К вечеру тронулись в путь. Подвозили людей и из других полков. Несколько дней мы были без еды и питья. В Плявиняс я нацарапал на папиросной коробке записку и выбросил в окно. Мои родные ее получили. В Даугавпилсе к нам присоединили литовских офицеров. Под Москвой видели немецкие самолеты, началась война. Потом Красноярск, баржей — в Дудинку, 10 августа по узкоколейке — в Норильск. Уже шел снег, и мы очень мерзли на открытых платформах.

Думаю, впоследствии в Литене расстреляли тех, кто вернулся из командировок, отпусков и т. д., когда уже поздно было вывозить их в Сибирь.

Публикации **Иманта БЕЛОГРИВСА**



**Эдите Паулс-Вигнере.
Враг народа.
На страже.
Гобелены**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено

Все ущелье криком сокола —
вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Осип Мандельштам. Четвертая проза

«Писатель — пописывает, читатель — почитывает . . .» Эта традиция, сложившаяся в относительно мирном и удобном для литературного творчества девятнадцатом веке, в нашу эпоху была прервана. Русский писатель, не желающий писать по указке государства, перешел на чреватое опасностью и фантастикой положение подпольного автора, то есть, с точки зрения того же государства, вступил на путь преступления, за которое предусмотрены строгие меры пресечения и наказания. Литература стала делом запретным, рискованным и,

соответственно, — еще более завлекательным.

Представьте ситуацию, в свое время обрисованную Анатолием Кузнецовым, на которую с возмущением ссылалась «Литературная газета», рассказавшая, со слов Кузнецова, чем он занимался на досуге в уединении, пока не покинул Россию. Оказалось, писатель, начертав кое-какие таинственные манускрипты, запивал их в стеклянные ампулы и, выбрав ночь потемнее, закапывал в землю в своем саду. Что называется, хоронил концы, зарывал клад, нажи-

«Абрам Терц» — литературная маска Андрея Донатовича Синявского. Носитель псевдонима родился в 1925 году в Москве, кандидат филологических наук, многолетний сотрудник Института мировой литературы. В 1962 году читал в Латвийском университете спецкурс о русской поэзии XX века, ставший одним из ярких духовных событий в жизни многих из тех, кому довелось этот цикл лекций слушать. Публиковался как «А. Синявский» в «Новом мире» и как «А. Терц» на Западе. Последнее обстоятельство привело к его аресту (вместе с Ю. Даниэлем), беспомощному и жестокому судилищу, и последующему заключению в концлагерь. Освобожден в 1971 году, уехал во Францию в 1973 году, где живет и ныне. Автор книг «Суд идет», «Фантастические повести», «Любимов», «Мысли врасплох», «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя», «Крошка Цорес», «Опавшие листья» В. В. Розанова», «Спокойной ночи».

Публикуемая статья напечатана впервые в 1974 году в первом номере парижского русского журнала «Континент».

тый недобрым путем, как поступали воры и разбойники всех времен и народов. Какой же он после этого писатель?! — негодовала «Литературная газета», не догадываясь в своей простоте, что вся эта сцена, словно списанная со страниц «Острова Сокровищ», — пре к р а с н а, что, не говоря уже о детях, о подрастающем поколении, следующих всегда романтическому примеру, подобный эпизод отраден писательскому сердцу, ибо затрагивает какие-то сокровенные струны писательства как такового. Сами же называете: «художники слова». Ведь не в президиуме же сидеть, не за рабочими же бегать, высуна язык, по строительству Братской ГЭС, завязывая с ними, с героями и читателями, какие-то удивительно bestактные, панибратские отношения. Ведь не купцы же мы, в самом деле, не приказчики и не вожди, и даже звание профессор или академик отдает для нас излишним оптимизмом. Это же наше первое, разлюбозное, это наше писательское дело такое — закапывать ампулы в землю, а в ампулах — рукописи, а в рукописях... эге-ге! так вам сразу поди и скажи, чт о в рукописях!..

Чтобы Анатолий Кузнецов собственным умом додумался до запечатывания стеклянных банок из-под компота, потребовалось длительное развитие общества, искусства и литературы в направлении безвыходности (откуда, между нами говоря, в конце концов и находится вдруг наилучший выход). Потребовалось писателя довести до кондиции преступника, правонарушителя, а для этого — предварительно кое-кого затравить до самоубийства, других изъять, третьих запытать, понадобилось сгноить и кастрировать тысячи писателей, чем и занимались в течение десятилетия основатели и буревестники советской литературы, которые теперь обижаются, что вот, дескать, Анатолий Кузнецов, словно какой-нибудь вор, закапывает по ночам на даче свои драгоценные склянки...

Итак, литературный процесс на каком-то этапе принял характер обоюдострой игры, авантюры, которая сама по себе могла бы составить фабулу увлекательного романа. Авторы превратились в героев еще не созданных, быть может, произведе-

ний, почувствовали на губах вкус интриги, которая может плохо кончиться («ешь пирог с грибами — держи язык за зубами!» — предостерегал писателей Н. С. Хрущев со свойственной ему прямотой), но которая зато придает некий высший смысл скудной писательской жизни, веселье, интерес, «бессмертия, может быть, залог». Все это сообщило русской литературе толчок или стимул к развитию, и сейчас она, как никогда за время ее раскулачивания, полна сил и надежд на будущее. Сейчас во всем мире самый острый, самый сочный сюжет — русский писатель со своей загадочной судьбой. То ли его посадят, то ли подвезят, то ли выпустят, то ли выдворят. Писатель нынче ходит по острию ножа, но, в отличие от старых времен, когда резали всех подряд, испытывает удовольствие и моральное удовлетворение от этой странной забавы. Писатель нынче в цене. И попытки его урезонить, застрашать или ссучить, сгноить и ликвидировать, всё повышают и повышают его литературный уровень.

По счастью, наши начальники в России, даже окончив два факультета и при знании трех языков, по какой-то врожденной привычке остаются глупо и безнадежно необразованными людьми. Им все время кажется, что они сумеют наладить художественный процесс и ввести его в законное русло, применив те или иные меры воздействия. Им кажется, что стоит сказать писателю: «посадим!», как он сейчас же напишет гениальную поэму в честь победившего коммунизма. Они, повторяю, к нашему счастью, не знают истории. Они упускают из виду Оскара Уайльда, которого засадили в тюрьму совсем не за писательство, а тем не менее до сих пор весь мир плачет над его писательской травмой и над «Редингской тюрьмой». Они забывают о Данте, которого изгнали из родного города вовсе не за то, что он был хорошим поэтом, а в итоге появились синонимы: «Данте» — «изгнанник» — «писатель»... И Пушкина убили тоже не за то... А если — за то, то, представляете, какой оборот в истории, в сюжете обретают приключения писателя, пусть его, в конце концов, и прикончат!..

Сейчас настало время жалеть не

писателей, но их гонителей и насильников. Ведь это им обязана русская словесность своим успехом. Писателю — ему что? ему море по колено, он сидит себе спокойно в тюрьме, в сумасшедшем доме и радуется: сюжет! Он, и загибаясь, потирает руки: дело сделано! . . .

Новый подъем русской литературы лучше всего прослеживается на таможене. Что ищут больше всего? — рукописи. Не золото, не бриллианты и даже не советского завода план, а — рукописи! А что лучше и больше всего ищут при въезде в Россию? — книги. На русском языке книги. Значит, русская литература, едущая взад и вперед, что-то стоит. Значит, нужно поставить плотину, запруду, Братскую ГЭС, чтобы книги и рукописи — не проникали. Но они всё равно просачиваются . . .

Когда у одной моей знакомой, ехавшей отсюда — туда, обнаружили в чемодане экземпляр романа «Доктор Живаго», ее немедленно посадили в гинекологическое кресло и подвергли медицинскому осмотру — не провозит ли она еще какой-нибудь тайный роман?

Это — хорошо. Это — на пользу. Это значит — книга в цене, и ее ищут, за нею охотятся, и она, убегая, и прячась, и закапываясь в землю, набирает силу и вес. Не доллары, а — рукописи котировались нынче на рынке.

Теперь посмотрим — о чем пишут больше всего в этих рукописях? Вряд ли мы ошибемся, если скажем: о тюрьмах и о лагерях. Не над колхозной, промышленной, не над любовной и не над молодежной даже тематикой болеет сейчас больше всего душою русский писатель, а на тему — как сажают, куда ссылают, каким образом (интересно же!..) стреляют в затылок. Лагерная тема сейчас — ведущая и центральная. За короткий срок мы тайком, тихон с-пой, сумели создать еще невиданную, небывалую в истории серию романов, повестей, поэм, мемуаров на каторжную мелодию. Куда там «Записки из Мертвого дома!» Сейчас вся Россия воет Мертвым Домом в литературную трубу.

Когда Запад (где все эти книги в конце концов издаются с научными комментариями) прислушивается к этому волчьему вою, он, естественно, приходит в экстаз и в изумление:

молчали-молчали, терпели-терпели и даже, случалось, славил, а теперь, те перь! когда никого почти не сажают, вы поете отходную и мешаете нам торговать?! Сколько вас — на весь многомиллионный народ — диссидентов? — раз, два и обчелся. И сколько можно писать про одно и то же?

— Торгуйте, милые, и дай вам Бог не видать никогда того Лиха Одноглазого, той Чуди-Юди из русской сказки. Но кроме старых ран, я уверен, тут действует литературный закон, повинуюсь которому русские авторы влюбились в свою неволю. От нее нас теперь пряхником не оттянешь. Нас теперь хлебом не корми, как дай рассказать про то, как стреляют в затылок. Что поделаешь: закон сюжета — расстрел . . .

А вы как думали? Что можно танками давить, и потом какой-нибудь выходец или отказник не использует ваши танки в художественной пррзе? Что голоса мертвых не заговорят наконец устами полуживых? Вы убили Бабеля, убили Цветаеву, убили Мандельштама и надеетесь, что в русской литературе э т о пройдет бесследно? Не надейтесь. Читайте-ка лучше историю. В каком-то дурацком семнадцатом веке законопатили в яме какого-то никому не нужного протопопа Аввакума. А нам от его писаний в земляной тюрьме до сих пор икается — чуть вспомним . . .

Однажды один начальник — дело было в лагере — вызвал к себе на воспитательную нахапку одного беспризорника, из полублатных, кое в чем натаскавшегося за время мыканья по зонам и пересылкам, и начал его вразумлять. Пятьдесят лет, говорит, наши зраги рассчитывают, что мы сгнием, а мы все растем и крепнем. Так что лучше не суйся, говорит, в это бесполезное дело и принеси все положенные извинения властям.

— А Римская империя, — отвечал молодой злоумышленник, — еще дольше стояла, а все ж таки под конец развалилась.

— Какая — Римская империя? . . . Так ведь это ж, это ж — истор и я! . . . (Вздох облегчения.) Я тебе про действительность толкую, а ты — из истории? . . .

То есть, на взгляд начальника, ни наша героическая современность, ни

он сам со своей крепостью — к истории не имеют ни малейшего отношения. Такова благодетельная для нас необразованность или полупросвещенность верхов. История — не по их ведомству. Так что ссылки на Аввакума, на Данте — не беспокойтесь — никому не помогут, ничему не научат: история.

Другой начальник — уже на воле — в подобной же задушевной беседе, за неимением других аргументов, не выдержал и тихо сказал:

— Танками вас надо давить! Танками!

То есть опять забыл, бедолага, что из-под танков, как с конвейера, снова попрут в неисчислимом количестве рукописи и книги. Так-то трудно приходится с русской литературой начальникам. Исключают они кого-нибудь из Союза писателей и радостно говорят: — Да какой же он писатель — он просто уголовник! — А у исключенного писателя от той оценки душа играет: наконец-то сподобился! . .

Но довольно лирики, и перейдем к теоретической части. Цитата из Мандельштама, поставленная в виде эпиграфа к настоящей статье, гласит, что всякое — даже без отношения к власти — писательство запрещено, предосудительно, и в той беззаконности, собственно, и заключается весь восторг и весь вопрос писательства. На какое большое произведение ни посмотри — либо взрыв, либо вывих. («В сумасшедшие дома всех вас, писателей, надо помещать!» — сказал мне откровенно сосед-наседка в камере на Лубянке и в каком-то высоком, метафизическом смысле был прав.) Возьмем ли мы «Евгения Онегина» или выберем для солидности «Воскресение» Льва Толстого, мы заметим, что все они построены на побеге, на нарушении границы. Что сама душа писателя просит — к побегу. Что самый вкус и смысл, и идеал писательства состоит вовсе не в том, чтобы «правду сказать» (пойди, если хочешь, и говори — в трамвае), но в том, чтобы эту так называемую «правду» положить поперек всеобщей, узаконенной и признанной публично за истину «лжи», и, следовательно, взять на себя роль и должность «уголовника», «преступника», «отщепенца», «выродка» или (какое новое подходящее слово вве-

ли!) «идеологического диверсанта». Всякий сколько-нибудь значительный, уважающий себя писатель — диверсант (ах! нет динамита!), и, озирая горизонт и раздумывая, о чем бы таком ему написать, — он избирает чаще всего запретную тему, будь то лагерь, тюрьма, евреи, КГБ или (что бы еще такое найти запретное?) — секс. Потому-то я и твержу, что свобода слова как раз писателям-то и не идет на благо, что от свободы писатель, случается, хиреет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем. А приятнее для писателя — тьма, лагерь, кнут, узда и запрет (с одновременной возможностью — из тех, кто смелый, — ту узду разорвать и закон — объехать). Писатель всем своим писательским нутром жаждет не свободы, он жаждет — о с в о б о ж д е н и я, как кто-то сказал из понимающих в этой механике. Сам акт писательства есть освобождение (дайте — цепь!). Важно открыть клапан, а для этого клапан предварительно должен быть достаточно заперт. И, значит, чем туже стягивают петлю на шее писателя (до известных пределов, конечно), тем ему легче и веселее в итоге поется . . .

Язык литературы, если к нему присмотреться внимательнее, — это язык непристойностей. В широком смысле язык литературы это — матерный язык. Хотя бы на нем говорилось: «Как хороши, как свежи были розы! . . .» Вы думаете, это — розы? — да нет, это — ругань, которой писатель (в данном случае Тургенев) бомбардирует стены тюрьмы. Так, как пишет писатель, разговаривать в семейном, в человеческом кругу не пристало. Литературный язык — это выход из языка. Литературный язык — это язык откровенностей, от которых становится стыдно и страшно, язык прямых объяснений с действительностью по окончательному счету, когда ей (действительности) говоришь: «пойдем со мной! не то зарежу!» И тут же ей объясняешь с чувством: «Как хороши, как свежи были розы!» (То есть: «пойдем со мной, не то зарежу!») Действительность, естественно, не верит писателю и отвечает: видали мы таких! Но так и х она еще не видала. И если она все-таки не идет (а чаще всего она не идет за писателем, за проходим-

цем) и остается с более достойными, деловыми людьми, с генералами, с инженерами, он, писатель, подносит ей с укоризною очередную свою непристойность: «Как хороши, — говорит, — как свежи были розы! . . .»

Это я выбрал самый приличный пример, а если перейдем на Пушкина, на Лермонтова — так ведь уши заткнете.

Писатель — это попытка завести с людьми разговор о самом главном, о самом опасном. Писатель — это скоропись Морзе, с которой кидаются тонущие на подводной лодке. Тонуть всю жизнь и всю жизнь объяснять стенаниями и ругательствами — удел писателя. Все эти романы, которые называются «По ком звонит колокол» или «Каждый умирает в одиночку», звонят не по кому-нибудь другому, как только по автору, по писателю. Спите спокойно.

Писатель — крайняя, кровавая апелляция человека к человеку. Как, в какой манере в этих случаях говорят — не так уж важно. Говорят — и это ясно с самого начала, едва вы беретесь за перо, если вы писатель, — только одно недозванное. В противном случае: зачем писать? — перейдите на вежливый, на общепотребительный язык в вагоне.

Писатель — это последний, заведомо обреченный на промах, опыт бомбардировки, это способность взывать непрерывно к истине и справедливости безо всякой надежды до них когда-нибудь достучаться. И если какой-нибудь прекрасный автор вам скажет завтра: «я пробился! увидел! идите за мной!» — вы можете не верить ему, но все-таки идите за ним, потому что он знает, что делает, он сумел нарушить запрет и произносит в последний раз — неведомое, освобожденное слово . . .

На самом же деле, наверное, до истины, кроме святых, никому не дано дозваться, и в тех прекрасных словах, что произносит писатель, он просто умирает. Неужто вы не слышите, как писатель агонизирует в своих словах? . . .

Я удивляюсь, как общество еще терпит, признает и даже превозносит писателя. Писатель — это живой мертвец. Это тень человека. Это человек, поставивший на себе крест. Какое мастерство или форма! Форма — гроба? Поэтому мне не понятен

Чехов, который советовал всех начинающих писателей сесть, приговаривая: «не пиши!», «не пиши!» Это все равно что бить людей и животных с призывом: «не умирай!»

А писателя именитого, прожженного не сесть, его гнать надо в шею из порядочного общества. А его чествуют, поздравляют с окончанием очередного романа. Деньги платят. Честное слово, когда я беру деньги, а я их беру регулярно за свои литературные произведения, я всякий раз удивляюсь, а затем уношу их поспешно, придерживая карман, немного горбясь, как вор уносит с места кражи столовое серебро . . .

Не пора ли, однако, вернуться в Россию, на более конкретную и современную почву запретной литературы, за которую ничего не платят, но зато хорошо карают. Мы сидели в лагере и смеялись, читая время от времени доходившую до нас «Литературную газету», периодически извещавшую нас, что вот еще один писатель сбежал или переправил незаконным способом за границу свою вредоносную рукопись, или империалисты воспользовались и напечатали без спроса похищенную повесть. Аркадий Белинков, Войнович, Серебрякова, Твардовский, Светлана Аллилуева, Кузнецов и так далее, пока весь этот список лиц, трудившихся над созданием русской цензурированной книги, не увенчался Н. С. Хрущевым (который еще недавно плевал в полотно Фалька), тоже на старости лет пустившимся в разгул и напечатавшим сказочным образом свои мемуары на Западе. Казалось, еще немного, и все официальные таланты, включая Федина, С. Михалкова и нынешних членов правительства, примут — тайно друг от друга — персональное участие в параллельном литературном процессе, который уже никакими угрозами не остановишь . . .

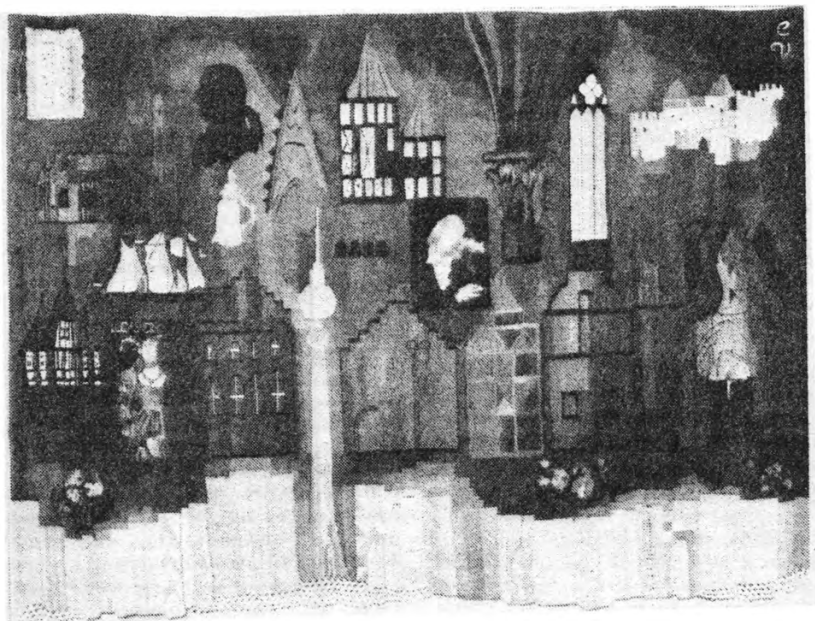
Дурной пример заразителен. К тому же условия несвободы, не столь тотальной, как при Сталине, но все же несвободы достаточно тяжелой, чтобы дело клеилось и душа резвилась и рвалась бы писать, — способствовали событиям. За небольшой срок, пока мы в лагере сидели (и сам я вблизи тех процессов не наблюдал), у нас появилась если еще не первая по литературному уровню, то во всяком случае интереснейшая в мире

крываем жгучим именем «сталинщины», — в исторической проекции литературного процесса в России, — тоже внесло сюда, быть может, свою законную лепту. Быть может, слишком долгое молчание и отчаяние заставили заговорить так страстно и горячо уже в условиях современной, относительно терпимой (и даже, как я сказал, чем-то выгодной писателям) несвободы, то есть — едва авторам удалось раскрыть рот. Если мы сейчас так громко, на весь мир, кричим о страшном и постыдном, что творилось с Россией, так это потому, между прочим, что мы на себе испытали «холод и мрак грядущих дней», которые всем нам предрекал Александр Блок.

О, конечно, и в ту пору кто-то из самых достойных, пока не добились, работал. Но Россия тогда не знала, что в ней все еще существуют писатели, пишущие на самые важные, на запретные темы и на запретном же языке. Только потом, только сейчас донесся до нас голос Мандельштама из глухоты Воронежской ссылки. Только через тридцать лет каким-то

подводным призраком, утоплением той эпохи выплыл роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот как, оказалось, полезно прятать вовремя рукописи, которые «не горят» только оттого, что их глубоко хоронят — под землей, под воду.

Я позволяю себе несколько задержаться на этом романе, взяв его лишь в одном и, возможно, не самом серьезном разрезе — собственно писательского, автобиографического, с судьбой самого Булгакова соотнесенного содержания. Ночь, в которую писался роман, была так беспросветна, что только сам дьявол внушал тень доверия. Эту роль дьявола, темного гения, роль Воланда, по каким-то непонятым, таинственным причинам снисходительного к писателю, к Мастеру, в жизни самого Булгакова сыграл — Сталин. Сталин знал о Булгакове и, загнав его в угол, почему-то не велел трогать. То есть он не давал ему никакой поправки, позволив, однако, поставить крамольную пьесу Булгакова во МХАТе, в единственном театре страны (у Сталина вообще была слабость к единственному чис-



Эдите Паулс-Вигнере. Путевые заметки. Германия. Гобелен

лу), куда, на «Дни Турбиных», сам ходил негласно и регулярно (я чуть было не сказал — по ночам). У Сталина даже наметился, хотя и очень тонкий, как нитка телефонного провода, личный контакт с Булгаковым. Между тем автора «Мастера и Маргариты» тогда, по всем раскладкам, следовало расстрелять, и очень может быть, что, если бы Сталин подозревал о существовании романа, Булгакова бы и убили, а рукопись сожгли и развеяли пепел по ветру. Но пока что хватали и стреляли других художников, в том числе самых пролетарских, самых назойливых в своей преданности партии, вроде Авербаха, и в «Мастере и Маргарите» представлены весь содом и бедлам тогдашней литературы, которая давно уже ходила облавой на Булгакова, всенародно заклеив его недостроенным белогвардейцем, а теперь вдруг гибла сама хуже белой гвардии. Булгаков же уцелел по неизвестной иронии рока и, загнанный в угол, описывал в романе свою странную дружбу с Воландом, который, развязав и подстроив все колдовство, оказывался много добрее казнимого им человечества. Люди стали бесами, а главный бес — мещаном. Единственно, кому помог Воланд, будучи мастером зла, были Мастер со своей Маргаритой (она-то и спасла и сохранила потом рукопись романа), потому что Воланд знал, кто есть кто. Эта мистика их отношений, писателя и вождя (по воровской поговорке: «я большой — ты большой»), получила отражение даже в графической близости имен, где Воланд (через W) несет на себе перевернутый герб Мастера и Маргариты — М.

... Он верит в знание друг
о друге
Предельно крайних двух начал,—

писал тогда же Пастернак на сходную мистическую тему отношений Поэта с Вождем (и конкретно — Пастернака и Сталина).

Да, Сталин умел внушать не только ужас и любовь к себе, но и веру в свои магические силы. В частности, среди теософов, подвергавшихся преследованию и не слишком уж обожавших режим, ходила тем не менее притча, что Сталин знает нечто такое, о чем никто не догадывается, и является инкарнацией Великого Учителя Ин-

дии — Ману. Однако булгаковское увлечение Воландом в историческом плане куда более оправдано, ибо в его лице Сталин выступает как удивительный и уникальный в своей профессии фокусник (отсюда его симпатия в романе к профессионалу-мастеру-писателю-Булгакову), отдавший себя всецело искусству запутывания и одурачивания людей, напусканию всевозможных миражей и наваждений. В Сталине, с его расстрелами и показательными процессами, с его коварством и колдовством, с его умением стоять над всеми и в своем сумрачном одиночестве злого, всезнающего и всемогущего духа, Булгаков, должно быть, почуял артистическую жилку и раздул ее в своих грезах о Воланде.

Разумеется, ни Воланд, ни роман Булгакова в целом не сводятся к сталинскому аспекту, как не сводится эта книга к собственной биографии автора. Но через нее мы лучше поймем специфику художественного развития в нашем отечестве, в какую-то минуту полностью замещенного игрою одного Чародея, который самой истории сумел на длительный срок придать силу и видимость сказочной фантастики. Искусство улетучилось, сгнуло, чтобы жизнь на время (если посмотреть на нее сторонним, притерпевшимся к злодеяниям оком) получила эстетический привкус кошмарного и кровавого фарса, разыгранного по правилам сцены и изящной словесности. Взять хотя бы детективное понимание истории, которое вождь сумел привить миллионам, или его любовь к реализации метафор. Метафорические обороты типа: «лакеи империализма», «предатели рабочего класса», «наймиты капитала», «левый загиб», «правый уклон» и т. д., которые имели широкое хождение до всякого Сталина, но главным образом употреблялись ради партийной перебранки и получали даже научное обоснование, не предполагавшее вначале, что «лакей» непременно стоит с подносом у буржуазного столика, а «наймит» грязными пальцами мусолит долларовые бумажки, — эти метафоры, повторяю, Сталин реализовал до полного, образного воплощения в жизнь. Пафос 37 года не только в широте охватившей страну вакханалии и не в том, что дошел черед до истребле-

ния «своих», самых рачительных партийцев, но также в необычайно ярком, как в романе, оживании метафор, когда по всей стране вдруг заползали какие-то невидимые (и потому особенно опасные) гады, змеи, скорпионы под страшными кличками «троцкист» или «вредитель». Вероятно, Сталин хотел внушить народу чувство гадливости к уничтожаемым повсюду политическим конкурентам и просто к подозрительным лицам. Чтобы не больно было убивать вчерашних отцов и братьев. Но вышло так, что Россия наполнилась «врагами» буквальными, пускай и невидимыми, которые действовали, как басы, и стирали грань между действительностью и вымыслом. Сталин включил (возможно, не подозревая о том) магические силы, заключенные в языке, и русское общество, падкое всегда на образное восприятие слова, на чудесное преображение жизни в фабулу романа (откуда простекают, между прочим, и красота и величие русской литературы), поддавшись этой жуткой иллюзии жить в мире чудес, колдовства, вероломства, искусства, которые у всех на глазах правят реальностью и, подирав морозом по коже, доставляют какое-то острое зрелищное наслаждение. Нашлись, понятно, невинные, искренние Павлики Морозовы, рванувшиеся со всем пылом неоспоренной детской души закладывать родного отца — ради «правды» и «пользы дела». Нашлись жены, доносившие на мужей, делавшие это не за страх, а за совесть, поскольку кровь расстрелянных, хлынувшая по стране, казалась уже кровью народа, которую сосали враги-вампиры, подлежащие беспощадному, как и подобает вампирам, уничтожению. Осановый кол вам в гроб, враги народа! . .

От той баснословной, художественной эпохи до сих пор сохранилась у нас привычка верить в силу слов. Когда мы, например, произносим: «идеологический диверсант», или «отщепенец», или «внутренний эмигрант», или «перевертыш» (вместо старого, доброго слова «двурушник», к сожалению скомпromетированного многолетним употреблением в период культа личности), или «литературный власовец», — нас охватывает двойное чувство страха и омерзения перед тем, кто удостоился этого

печального звания. Казалось бы (согласно логике), «идеологический диверсант» много легче и лучше прямого диверсанта, который взрывает мосты, пускает поезда под откос и подбрасывает в колодезцы стрихнин. Ан нет, — хуже и значительно вреднее. «Идеологический» (ишь как извращается!) означает еще большее изуверство, означает какую-то внутреннюю (как во «внутреннем эмигранте»), увертливую силу, вроде самого черта. Это совсем не мальчишка, давший под секретом прочитать товарищу «Доктора Живаго» (а товарищ — донес). Знаю я этих мальчишек. «Лучше бы ты человека убил!» — говорили им следователи. Тут все дело в скрытой, в подпольной образности слова . . .

Со мной в лагере сидел старик, осужденный на 25 лет (он уже заканчивал срок) за веру в Бога. Это был православный, из «тихоновцев», то есть из не признавших нынешнюю, официальную церковь (и ему тоже следователи говорили: — Лучше бы ты человека убил!). По теперешним нормативам (смотри Уголовный кодекс РСФСР) — максимум, что ему причиталось, это семерик лагерей («антисоветская агитация и пропаганда»), ну, в крайнем случае, к этим семи можно еще добавить пять лет ссылки. Но старик сидел в лагере 25 лет по старому, уже вышедшему из употребления указу. Старик был уже отрешен от жизни и «качать права» не желал. Однако мальчишки (из тех идеологических диверсантов, кто сидел и сидит за «Доктора Живаго» или что-нибудь в этом роде) писали за старика прошения и жалобы Генеральному Прокурору, ссылаясь на явное несоответствие «преступления» и «наказания». И, сколько помнится, всегда — в наши либеральные уже времена «соблюдения полной законности» — приходил один и тот же ответ от Генерального Прокурора:

— Нет, осужден правильно. Потому что под видом религиозной агитации занимался антисоветской пропагандой!

То есть — если бы старец в открытую занимался той самой антипропагандой, ему можно было бы дать по закону положенные семь лет. Но вот за то, что он делал это «п о д в и-

до м», так пусть и сидит полностью отмеренный ему четвертак!

«Под видом» — гораздо страшнее. Поэтому «литературный власовец» много ужаснее «власовца» как такового и даже, быть может, хуже самого генерала Власова. Ну что Власов, ну — изменил, ну — предал, перекинулся к Гитлеру (дело понятное, простое). А вот «литературный» ползает между нами, как какая-то неуловимая («идеологическая») гнида, и, поскольку ту змею распознать и расправиться над нею (так, чтобы Запад не радовался) значительно труднее, она в своей искусственной, литературной шкуре представляется куда ненавистнее...

Сколько мы ни боремся за соблюдение социалистической законности, сколько ни подписываем международные «Декларации прав человека» (смотря — какого человека!), над нами властвует эмоциональное, художественное восприятие слов, пусть те слова будут какими хотите юридическими и сколь угодно научными. Тоже мне — нашли простачков, «хуманность» там всякую развели, «хнишки», «еделохию». Так ведь ваша «хуманность» хуже татарского ига («иха»). Иго — оно конечно (в случае чего и потянем), а вот «литература», «искусство» — это неизмеримо злее: потому что — тихой сапой.

Я опять склоняюсь к жалости и снисходительности к власти. Вы не представляете, как им больно, физически и душевно больно, переживать весь этот, с позволения выразиться, «литературный процесс».

Он выходит на авансцену истории, на трибуну, и читает по бумажке (тоже ведь трудно!) заготовленный референтами текст:

— Хаспада! Ляди и жантильмоны!

И все, сколько есть, господа (во всяком случае — в России) смеются. А он думает, смутно припоминая, что, закончив два института и при знании трех языков, должен еще что-то объяснять и доказывать этой, будь она проклята, ынтылыхэнси: «Ну, думает, змеи, попадетесь вы мне в хорошую погоду — под танки!» И говорит, с надрывом, через силу произнося бессмысленные слова:

— Действительность и исхуйство!

И обводит всех черным, печальным, немигающим оком, и печально помавает бровями — чтоб не смеялись.

И все, смекнув, чем тут дело пахнет, стихают. И с серьезными лицами слушают международный доклад о новом, еще высшем подъеме и о все более глубоком внедрении писателей в жизнь.

«Бабу бы — вместо жизни — поставить р а к о м!» — думает он между тем, погрывая бровями, отпив, с глубоким вздохом, полстакана нарзана. «Танками бы вас всех! Танками!» («Шаечками! Шаюшечками!..»).

Последние слова (в скобках) заимствованы из анекдота. Лишь анекдот в недавние времена сохранял ту исключительную, спонтанную жизнестойкость, которая присуща искусству и знаменует что-то большее, чем свобода слова. Сколько на анекдот ни дави (за него в свое время давали и по пяти, и по десяти лет — «за язык!»), он от этих репрессий только набирается силы, причем — не силы злобы, но — юмора и просветления. Анекдоты в течение тридцатилетней ночи и до сих пор сияют, как звезды, в ночной черноте. Да еще доносились с окраин России блатная песня... Два жанра русского фольклора пережили расцвет в двадцатом столетии — в самых безысходных условиях — и исполнили в некотором роде (когда ничего еще и не грезилось) миссию самиздата, предполагающего ведь не один только факт публикации на пишущей машинке, но — и это важнее — идею преемственности, традиции, развития, когда один человек что-то скажет, напишет, а второй это сказанное подхватит и продолжит. Будущее русской литературы, если этому будущему суждено быть, вскормлено на анекдотах, подобно тому как Пушкин воспитался на нянюшкиных сказках. Анекдот в чистом виде демонстрирует чудо искусства, которому только на пользу дикость и ярость диктаторов...

До сих пор мы не вышли из полуфольклорного состояния. Когда словесность не имеет силы расправить крылья в книге и пробавляется изустными формами. Но эта участь (участь всякого подневольного искусства) по-своему замечательна, и поэтому мы в награду за отсутствие печатного станка, журналов, театров, кино («И чего-чего у нас только нет! и крупы нет, и масла нет...» — из анекдота) получили своих беранжеров, трубадуров и менестрелей — в лице

блестящей пляды позтов-песенников. Я не стану называть их имена — эти имена и так всем известны, их песни слушает и поет вся страна, празднуя под звон гитары день рождения нового, нигде не опубликованного, не записанного на граммафонную пластинку, поруганного, загубленного и потому освобожденного слова.

У меня гитара есть —
Расступитесь, стены, —
Век свободы не видать
Из-за злой фортуны,
Перережьте горло мне,
Перережьте вены,
Но только не порвите
Серебряные струны . . .

Так поют сейчас наши народные поэты, действующие вопреки всей теории и практике насаждаемой сверху «народности», которая, конечно же, совпадает с понятием «партийности» и никого не волнует, никому не западает в память, и существует в разреженном пространстве — вне народа и без народа, услаждая лишь слух начальников, да и то пока те бегают по кабинетам и строчат доклады друг другу, по инстанции, а как поедут домой, да выпьют с устатку законные двести граммов, так и сами слушают, отдуваясь, магнитофонные ленты с только что ими зарезанной одинокой гитарой. Песня пошла в обход поставленной между словесностью и народом, неприступной, как в Берлине, стены и за несколько лет буквально повернула к себе родную землю. Традиции старинного городского романа и блатной лирики здесь как-то сошлись и породили совершенно особый, еще неизвестный у нас художественный жанр, заместивший безличную фольклорную стихию голосом индивидуальным, авторским, голосом поэта, осмелившегося запеть от имени живой, а не выдуманной России. Этот голос по радио бы пустить — на всю страну, на весь мир — то-то радовались бы люди . . .

А что поется по радио? Да по радио нынче ничего не поется, и вы можете это легко проверить, если проснетесь пораньше и послушаете, что творится в эфире ровно в шесть часов по московскому времени. Начинается день, и он, естественно, начинается с гимна. Попробую припомнить слова:

Союз нерушимый республик
свободных
Сплотила навеки Великая Русь . . .

Оборвалось. Слов этих больше не произносят, слова пропускают — потому что, выяснилось, в тех словах, сочиненных С. Михалковым, слишком много доброго сказано про Сталина, которого хорошо бы, конечно, поставить на свой пьедестал, но еще время не пришло, и поэтому и гимн заменить нельзя каким-нибудь другим песнопением, но и тех приятных слов про любимого вождя тоже пока употреблять воздержитесь. Россия вот уж скоро двадцать лет существует без своего государственного гимна, и оттого по радио утром вы услышите лишь мычание, переложенное на рев духовых инструментов и медных тарелок. Что-то военное, оптимистическое, могущественное, правда, чувствуется, но что именно, сказать невозможно. Если вы находитесь в лагере, вы имеете случай всякий день слышать эту музыку, выпускаемую одновременно всеми рупорами и громкоговорителями зоны вместо утренней побудки. Ради объективности следует добавить, что к этим трубным звукам примешивается всякий раз более мелодичный, хотя и несколько тоскливый, бой в лагерную рельсу (смотри «Один день Ивана Денисовича»), и те колокола — внутренние и внешние — удивительным образом перекликаются, создавая в душе человека ясное представление, что ничто не меняется и он снова проснулся у себя за проволокой. Утро Родины.

Каждый исторический факт символичен, и двадцать лет мычания взамен текста, который и хочется и колетса спеть, тоже символичны, и поэтому, задумываясь над нынешним государственным гимном, вы неизменно придете к выводу, что Россия надолго застыла в какой-то промежуточной стадии, когда и нового нет ничего и старое уже отступило и не в силах произнести, на страх врагам, веское и внятное слово.

А ведь когда-то (опять на заре) слова более-менее удавались, невзирая на заматанность кадров, не обладавших к тому же слухом и интересом к развитию языка. Последнее обстоятельство сказалось на множестве слов, созданных в новую эпоху и звучащих дикой абракадаброй,

скорее пугавшей население, вместо того, чтобы его привлекать к строительству великого здания. Все эти «вики», «цики», «рабрины», «губисполкомы» и «наробразы», независимо от воли хозяев, придумавших эти слова, действительно отдавали каким-то душегубством, особенно по ночам. Но вопреки глухоте властей к музыке и лирике три достойных слова, как минимум, появилось, что иначе, как милостью свыше, не объяснить (и потому, в отличие от злопыхателей, я верю, что на начало было не то чтобы обязательно светлым, но совершенно неизбежным). Цыкая на вверенное ему население, молодое государство все же сумело утвердить в народном сознании три хороших слова, которые стоит разобрать по отдельности, потому что они имеют высший смысл.

Первое слово — «б о л ь ш е в и к» (прошу не путать с «коммунистом»). «Большевик» — это значит: больше. А «больше» — это всегда хорошо. Чем больше — тем лучше. Я глубоко убежден, что вся беда меньшевиков состояла в том, что на собственном знамени они начертали — «меньше». Поэтому русский народ выбрал — чьё «побольше».

Второе слово — «Ч е к а». Чрезвычайная комиссия. Но ни «комиссия», ни «чрезвычайная» ничего не говорят русскому сердцу. А вот «ч е к а» обещает нам много приятного. Потому что это значит — стоять н а ч е к у. А начеку всегда надо стоять. И тот факт, что нынешняя госбезопасность старается возродить это слово — «ч е к и с т» и «ч е к а», — говорит не только о том, что ей хочется вспомнить романтику революции и чистые руки Дзержинского (хотя, вероятно, те руки были действительно почище всех последующих рук). Само слово «чека» звучит выразительно. В нем есть какая-то твердость, какая-то чеканность. На это слово можно положиться — не выдаст. Только в лагере я впервые услышал, что слово «чекист» произносится с каким-то странным отражением (как поется в блатной песне: «А на вышке маячит ненавистный чекист . . .»). А на воле — прямо признаюсь — это слово пользуется большой популярностью.

Третье слово — самое главное и самое заветное — называется: «с о в е т с к а я в л а с т ь». Этому доб-

рому кораблю — большое плаванье. Не важно, что советской власти — нет. Это все давно знают, что ее нет, и все без нее прекрасно обходятся. Главное не в том, кто конкретно правит властью и машет руками с Мавзолея. Главное — слово-то больно хорошее и со смыслом: «совет» — «свет» — «светлый» — «свой» — «свойский» — «свояк» — «советский». То есть — наш, то есть — добрый. До сей поры случаются казусы, когда мужик (или баба) кроет почем зря «коммунистов», но защищает при этом «советскую власть». И это не какие-нибудь политические интриги на предмет, что предпочтительнее — «советы» или «партия». Это просто звучание и столкновение слов: а к о м у нужны ваши коммунисты, когда у нас в запасе с в о я с в е т с к а я в л а с т ь?! Мы все здесь с в о и — и ч у ж и м тут делать нечего.

На этих трех словах, как на трех китах, стоял и стоит — строй. Под него не подкопается. И поэтому мои теперешние речи вовсе не подкоп (как могут некоторые подумать), но — совет: внимательнее относиться к художественному слову. Потому что — что же происходит в последние годы? Никакой поэзии. Ни малейшей изобретательности. Вот назвали целый город именем Пальмиро Тольятти, а народ, населяющий ту Пальмиру, именуется по-старинному, по-простому, по-советскому: Т е л я т и н. Или — все эти модные буквенные перестановки, в которых сам черт ногу сломит и можно с ума сойти, придя к непозволительным и безответственным гиперболам. Например. Было: В К П Б. Стало: К Г Б. На первый взгляд — ничего, недурственно, даже — лапидарнее. Но в ходе подобных новшеств остается всегда неясность, кто здесь над кем командует и что из чего в результате проистекает. Где конец и начало? Где Ленин и Сталин? И куда смотрит С. Михалков, призванный все эти реформы выразить стихами? И потом — простите, товарищи, но, трезво рассуждая, К Г Б для русского уха тоже звучит не слишком уж поэтично. К Г Б — походит немного на крематорий, на гроб, в лучшем случае — на шаги Командора по гробовым плитам. И что же получается, вы вдумайтесь, в итоге всех этих словесных экспериментов! . . .

Не лучше ли было оставить России прежнее сочленение? Чтобы во главе сидел «б о л ь ш е в и к» и при помощи «ч е к а» управлял бы сверху «с о в е т с к о й в л а с т ь ю». По-моему, приятнее звучало бы, а главное — много проще и доступнее для народа.

Прошу извинить за эти чуждые вторжения в сферу демократии и в область языка, но без названных слов, согласитесь, литературный процесс в России, мягко говоря, — непонятен. Потому что, когда читаешь книги, выпущенные самиздатским способом, очень часто, в особенности в первый момент, создается впечатление, что начальство из-за своей перегрузки просто еще не удосужилось прочитать эти книги, а то бы наверняка спохватилось, опомнилось и что-то изменило в режиме нашего уничтожения. Настолько эти книги — письмом своим, фактами, взыванием к лучшим чувствам человечества — представляются убедительнее и доказательнее тех бесчисленных циркуляров, что спускаются и спускаются сверху, в тишине, без малейших попыток услышать, что же, собственно, происходит в действительности...

Здесь, на этом месте, литературе следует быть настроже и не поддаваться обаянию с чувством, со всей правдивостью произнесенного слова. Опасность, грозящая современной русской словесности, — разумеется, запретной (о другой вообще не может быть и речи, настолько она отстала от художественного процесса — лет на двести), это — перейти на положение унылой жалобной книги, которая подносится мысленно тем же властям (а те и в ус не дуют) или складывается в шкаф, до лучших времен, когда люди научатся жить по правде. Это — застарелый грех девятнадцатого столетия, перешедший к нам по наследству от двух книг с вопросительными заглавиями: «Кто виноват?» и «Что делать?» Мы опять оказываемся перед кровавой дилеммой: с кем вы, мастера культуры? за кого вы? — за правду или за казенную ложь? При такой постановке вопроса у писателя, понятно, нет выбора, и он гордо отвечает: за правду! И это единственно достойный ответ в подобной ситуации. Но провозглашая — «за правду!», нужно помнить, что сказал Сталин, когда какие-то храбрецы из Союза писателей попро-

сили его разъяснить раз и навсегда, что такое социалистический реализм и как достичь практически этих сияющих вершин. Не задумываясь, не моргнув глазом, вожде ответил:

— Пишите правду — это и будет социалистический реализм!

Дошло до того, что правды надо бояться. Чтобы она опять не села нам на шею. Чтобы писатель, отказавшийся лгать, творил бы и помимо всякого «реализма». В противном случае вся обещающая, освобожденная словесность опять сведется к отчету о том, как мы мучились и что предлагаем взамен. Сведется к вопросу: «что делать?» и «кто виноват?» И все пойдет прахом и начнется сначала: «освободительное движение» — «натуральная школа» — «передвижники» — и как естественный венец — «партийная литература» в виде винтиков и колесиков к «общепролетарскому делу»... Хорошо бы этого избежать. Не предлагать готовых рецептов. Открестившись от лжи, мы не имеем права впадать в соблазн правды, которая снова всех нас поведет к социалистическому реализму навыворот. Сколько можно лебезить и заискивать перед действительностью, которая нами помыкает! Писатели все-таки художники слова.

Не пора ли отрешиться от магии слов, вроде — «реализм», «коммунизм»? Не время ли вынести все эти вещи за скобки, как нечто само собой разумеющееся? Один молодой человек явился в дом и сказал: «Я — антикоммунист! Я — за правду!» В первый момент это прозвучало. Еще бы: говорит и не боится. Но потом пришли на ум сомнения, аналогии. Допустим, человек то и дело повторяет: «Я — антифашист!» Очень мило. Только как-то слишком общо, недостаточно, назойливо. И зачем брать за точку отсчета собственной полноценности то, что для вас потеряло цену? Сколько можно определять себя — негативно? Мы никуда не сдвинемся с реализма-коммунизма, если станем все время оглядываться на эти слова. Не говорим же мы: «Я — антилжец!» Или: «Я — антизверь, антипалач!» Если ты — человек, то зачем тебе ежедневно доказывать, что ты давно уже вышел из животного состояния?..

Потому-то я, признаться, побаиваюсь — реализма. Как бы с него не по-

шла, не развилась на земле новая ложь . . .

Эпоха научила нас хуже подчас относиться к праведникам, чем к заведомым стукачам. Заведомый — еще посмотрит, подумает: продать тебя сразу, сейчас, или выгоднее — подождать. Праведник, жертвуя жизнью, пойдет и заложит. Ах, эти чудные девочки, выходившие, рискуя собой, на трибуны комсомольских собраний:

— Андрей, встань и ответь перед всеми — скажи правду со всей откровенностью: что ты мне вчера рассказывал про колхозы перед тем, как мы целовались?! А ну-ка, признайся — со всей принципиальностью!

Честные, голубоглазые девушки . . . Вот он — ре а л и з м!

А может, все же попробуем вынести его за скобки (на свалку)? . . .

Я понимаю, что все, что здесь говорится, пройдет впустую — как чистая лирика. Что слишком велик еще гнет государства, чтобы мы могли отделиться, эмансипироваться — от «коммунизма», от «реализма». Мы осознаем себя все еще слишком зависимо, слишком негативно. И только тот гнет еще — наше оправдание . . .

Вот недавно снова спустили (привет!) писателям медаль за отвагу имени Александра Фадеева. Фадеев же, как всем известно из газетных столбцов, из правительственного отклика на его преждевременную смерть, покончил с собой по причине хронического алкоголизма и ничего достойного своей золотой медали не сделал — разве что раскаялся под конец в нанесенном отечественной словесности ущербе. И невольно возникает (не хочется — а возникает) вопрос. Как долго можно большому и самостоятельному государству обходиться без литературы и искусства, с которыми, едва они появляются, проникая по тем же слабым каналам самиздата, государство считает своим первым делом и главным долгом — бороться? Генералов напускать, сталеваров, газосварщиков, которые легко и просто курчат писателей с их бумажным скарбом. Ну еще понятно, когда Чехословакия, маленькая страна, вдобавок, вероятно, не совсем самостоятельная, все последние годы, говорят, прекрасно существует безо всякой литературы и

ничего себе, процветает, и ей не стыдно. Но мы же — не Чехословакия. Мы же эту Чехословакию, извините, — и в нос и в рот! И что нам Мадагаскар или Новая Гвинея, которые тоже в недалеком будущем подпадут под нашу руку? «И Африка мне не нужна!» — как поется в песне совершенно официально. Захватим Африку, захватим Америку — прекрасно! А с чем останемся? — с медалью Александра Фадеева за отвагу? . . .

Все это похоже на кардиограмму слабеющего сердца. Это похоже на монолог перед совершенно беззвучным экраном. Звук — выключен, и слова не доносятся с экрана, только видишь, как что-то читают по бумажке и машут руками, маршируют и аплодируют друг другу в ответ на беззвучные речи. И закрадывается подозрение, когда долго на это смотришь, что, может быть, как мы, сидя перед экраном, ни слова не слышим, так они не слышат и не понимают, что делается здесь, в этом литературном процессе, который все что-то пытается объяснить своему правительству и предлагает его вниманию по одну, то другую книгу, которые кажутся нам абсолютно неопровержимыми, замечательными, обещающими, ну а до слуха этих теней на экране те слова попросту не доходят. Книги им не слышны, не нужны . . . Я пытаюсь передать взаимоотношение литературы и общества в России.

В нашем лагере сидела группа ребят, осужденная в дальней провинции за составление листовок коммунистического направления, но, понятно, с кое-какими поправками и советами в сторону смягчения и снисхождения к народу. Разбросав свои революционные листовки, наши комсомольцы, покуда их не арестовали, приняли резолюцию — купить новые брюки и туфли своему несколько обносившемуся лидеру и все свободные часы проводить перед телевизором и слушать внимательно радиопередачи из Москвы — для того, чтобы не пропустить тот исторический момент, когда власти, прочтя листовки и вникнув в их смысл, по радио и по телевидению обратятся за моральной поддержкой к нашим доброжелателям, находившимся, естественно, на полуподпольном положении и потому для начальственного глаза пока недоступным. То есть

ждали, когда кликнут клич и позовут в гости, расчувствовавшись от таких правдивых и полезных обществу листовок. Для того и штаны были необходимы, и ботинки — на случай встречи с правительством.

Все это из той же оперы — вера в силу слова. И народ верит, и писатели, и власти (которые, по всем правилам исследовав те листовки, тех правдоискателей незамедлительно выловили и изолировали), и сочинители бесчисленных писем, жалоб и обращений по адресу тех же властей. Поэтому — пишут, и поэтому — не велят писать. Поэтому — молчат, и поэтому — сажают. Помимо печальных и комических сторон этого дела здесь можно обнаружить глубоко положительные начала, присущие русской жизни и русской словесности. Слово для нас все еще слишком живо, слишком пылко, вещественно, действенно по своей внутренней секреции, чтобы к нему относиться с прохладцей, как на Западе, где все слова произносятся, пишутся без особых как будто препятствий, но и без особого, вероятно, задора со стороны пишущих. Западу наши проблемы, может быть, даже совсем непонятны. Непонятно — зачем кого-то нужно истреблять за слова? Непонятно — почему официальная и большая часть литераторов, громадная писательская армия, не может слова вымолвить без того, чтобы не оглянуться, как все это согласовывается с планами и языком вышестоящих организаций? И почему в этой армии нет-нет, а что-то проскочит и кто-то вскинется и пойдет кричать, да так запальчиво, как будто он думает весь мир перевернуть?

Мы для Запада все равно что для нас — китайцы. Много мы плачем по Китаю? Да только в том отношении, чтобы нас не замал, а так пусть себе живет на здоровье, как знает, и ловит за хвост своего Конфуция на смех курам, и мы готовы отдать ему все, что у нас самих есть в багаже смешного и безобразного, — пускай расхлебывает эту кашу. На тебе, убожее, что мне не гоже. Китай ведь это всегда что-то странное. Им, китайцам, наверное, так и надо, они — приехали...

Но, относясь скептически к надеждам силою слова что-то изменить и поправить в этом мире, можно и должно воспользоваться нашей вековеч-

ной, чисто российской привычкой воспринимать слово реально, как будто оно само по себе и есть уже целое дело, за которое к стенке ставят, — для того чтобы на этой навозной, плодородной почве попытаться вырастить нечто удивительное, экзотическое, пусть не в жизненном, так в собственно словесном, литературном значении. Гору не сдвинем, но сказка, может быть, и появится.

Когда арестовали Аркадия Белинкова (это было, кажется, в 44 году) за написание романа, так и не увидевшего свет, следователь направил рукопись на рецензию двум выдающимся литературоведам страны — Е. Ковальчик (она заведовала кафедрой советской литературы в Московском университете) и В. Ермилову. Рецензии были написаны на высоком академическом уровне, с тщательным разбором, по косточкам, всего романа, с применением даже стилистического анализа, который заканчивался одним практическим выводом: Б е ш е н ы м п с а м н е д о л ж н о б ы т ь п о щ а д ы ! Этот лозунг трудящихся был усвоен филологической наукой еще с полосы расстрелов середины тридцатых годов. Итак, куда ни кинем взор, видим поразительную способность России принимать писателя за чистую монету, то есть в его художественных образах читать действительно что-то такое грозное и опасное для жизни. Так вот этой способностью, говорю, и стоит воспользоваться...

Не обязательно ссылаться на отрицательные примеры. В истории литературы содержится немало фактов, свидетельствующих о высоком исполнении писателем своего долга перед родиной. На вечере памяти Эдуарда Багрицкого (это было уже после кончины Сталина, но еще до полного развенчания культа его личности) ныне покойный, а в свое время боевой, комсомольский, журналист и писатель М. Колосов рассказал молоджи, захлебываясь, такой эпизод. Они жили с Багрицким на одной лестничной площадке и находились в добром приятиельстве. Но вот однажды вечером Багрицкому позвонил телефон, и неизвестный голос агента госбезопасности предложил к двенадцати ночи явиться по указанному адресу, сохранив этот вызов в тайне даже от членов семьи, — так вот Баг-

рицкий тогда, несмотря на старое приятельство, ничего не раскрыл своему сожителю и выполнил в точности спущенную по телефону инструкцию. Сожитель же, как лицо партийное и доверенное, кейфовал, зная заранее, что здесь кроется, и заскочив нарочно в тот вечерок к Эдуарду — посмотреть, как тот станет вертеться около полуночи. К одиннадцати примерно Багрицкий начал нервничать, поглядывать на часы и, видя, что гость не уходит, мрачно объявил наконец, что намерен прогуляться. Колосов, посмеиваясь, предложил проводить, тем более что аналогичный маршрут сам получил накануне и просто испытывал бдительность своего знаменитого друга. Что тут поднялось!.. Багрицкий накричал, чтобы его оставили в покое, одного... А через час они столкнулись носом к носу в доме Горького, куда таким же звонком были созваны многие литераторы из наиболее достойных — для дружеской встречи со Сталиным. В ту ночь и были выданы советской словесности новый устав и паспорт — «социалистического реализма»...

Пока Марк Колосов дорисовывал портрет Эдуарда Багрицкого (честность, прямота, умение соблюдать военную тайну и т. д.), нам, слушателям, представилась необычайная в самом деле картина, позволяющая схватить весьма существенные, хотя почти незаметные, звенья, из которых, как цепь, складывается литературный процесс. Представьте и вы, читатель, ночную Москву начала 30-х годов, по которой, хоронясь друг от друга, как воры, со всех концов столицы, вызванные полицейским звонком и не ведающие еще, зачем их по секрету затребовали, — сползаются писатели, «инженеры человеческих душ». Вот это и есть консолидация, это и есть конспирация писательского сознания, говорящего одним своим ночным, зловещим колоритом, что русская литература это вам не щи хлебать, не полисовать пером по бумаге, но нечто неизмеримо ответственное и бесконечно запретное.

Правда, сейчас той внутренней силы и веры, двигавших писателями, которые с радостным страхом собирались ночью, поодиночке, под крыльшком у Горького, — уже не воротить. Писатели сейчас скорее распол-

заются по ночам в разные стороны кто куда. В советской литературе начался разброд и разъезд. Но даже в этом разброде чувствуется целеустремленность (только в разные стороны) того процесса, который в иные времена знаменовался — консолидацией. Конспирация же — еще пуще возросла. И почему бы опять-таки не употребить эти славные качества, очевидно органически присущие русскому духу, на пользу дела, оставив его, это дело (пока хотя бы), на уровне — слова?.. Какие бы романы полились, пьесы, стихи!.. Как бы мы опять удивили мир загадочностью русской души!..

Русская книга (если брать ее по серьезному, по большому счету) всегда писалась и пишется кровью, и в этом ее преимущество, в этом ее первенство в мировой литературе. Оттого теперь так проигрывает гозидат перед самиздатом, хотя силы далеко не равны. И оттого-то Сталин, прекрасно разбиравшийся в человеческой психологии, устроил для художников слова подобающую художественную инсценировку, в виде сходки на конспиративной квартире, после чего, естественно, писатели, как герои, были готовы беззастенчиво жертвовать собою... Нынче опомнились и жертвуем по-своему. Какая же все-таки бездна талантов нужна России, чтобы всю историю своей литературы, то есть занятия сравнительно мирного, не пыльного (сиди и пиши), устилать трупами! Чтобы все развигие страны, начиная чуть ли не с Ивана Грозного (до этого не помним — память отшибло), следовало не путем накопления и сбережения ценностей, но — дорогой раскола, когда целые семьи, сословия, категории населения (например, те же «раскольники»), подчас самые как раз талантливые, нравственно чуткие, интересные наконец, способные принести славу нации, периодически изничтожались, либо выбрасывались прочь, как мусор. Какая, однако же, богатая страна, что так щедро, так расточительно разбрасывается людскими запасами и, оскудев, вновь наполняется — для новой жатвы, для новой диаспоры...

Сейчас на повестке дня третья эмиграция, третья за время советской власти, за пятьдесят семь лет. Пока что ее подавляющую часть составляют евреи, которых более-менее

выпускают. Но если бы выпускали всех, еще неизвестно, кто бы перевесил — литовцы, латыши, русские или украинцы . . . Хорошо, что выпускают евреев, хоть — евреев. И это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит — допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет к чему бы русскому прикнуться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном мире. Но все бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, — дитя! . . .

Без евреев Россия, конечно, обойдется, как обходилась она без церкви, без дворянства, без интеллигенции, без литературы . . . У нее, в конце концов, хватит сил и средств восполнить и этот урон. А все-таки грустно нынешнюю Россию видеть без евреев. Империя все-таки, и кого в ней только нет — и татары, и чуваша, и греки, и даже ассирийцы . . . Как же без евреев? Это скучно будет. Одноцветно. И потом, на кого мы свалим тогда наши очередные грехи? . . .

Здесь уместно сказать мне несколько слов в защиту антисемитизма в России. То есть: что хорошее скрыто, в психологическом смысле, в русском недружелюбии (выразимся так — помягче) к евреям? Русский человек не в силах допустить, что какое-то зло от него, от русского человека, исходит. Потому что внутри (как всякий человек, вероятно), в душе, он — хороший. Он не может представить, что в Русском государстве русские люди чувствуют себя плохо по вине таких же русских или по своей собственной вине. Русский — это свой (свойский, советский). От своих зла не бывает, зло всегда от чужих. Российский антисемитизм — это форма отчуждения зла, это — спихивание собственных пороков на «козла отпущения», на евреев . . .

Понятно, еврей от этого не легче. Но я прошу учесть в данном случае и нравственную сторону русского человека, который, натворив столько бед над собой и над другими, никак не может взять в толк, как же это все случилось, и не иначе здесь какие-то «вредители» замешались, «шпионы»

и «диверсанты», тайно захватившие власть и все доброе в русском народе обратившие в плохое. В лагере, например, простые мужики (особенно из долгосрочников) по сей день уверены, что все правительство в нынешней России, и все судьи, и все прокуроры, и, главное, КГБ — сплошь состоят из одних евреев. И объяснить им, что еврею сейчас на такие высоты просто не пробраться, что евреям теперь самим несладко, — совершенно невозможно. Решающий довод:

— Неужто ты думаешь, что русский человек мог бы давать ни за что — двадцать пять лет?! Это только еврей может! . . .

И бессмысленно ссылаться на имена управляющих, вроде Ивана Ивановича Иванова: «знаем-знаем — все они изменили имена и фамилии, перекрасились, у, жиды! — ненавижу! . . .» И бессмысленно демонстрировать напечатанные в «Правде» портреты какого-нибудь Политбюро, ЦК или Президиума Верховного Совета, где господствуют толстые, курносые, простодушные, великодерзкие яшки:

— У-у-у, жидовская морда. Да ты посмотри — типичный жид! . . .

Чтобы не вышло диффамации, не стану называть имена уважаемых и стопроцентно русских товарищей, к кому эти реплики относятся.

Ссылки на политику, известную всем из газет, что Советский Союз в войне арабов с Израилем поддерживает арабов, — тоже не поможет. «Знаем-знаем: тайно они все равно помогают Израилю! Ты не знаешь, какие они — змеи!» И одновременно — в шестидневной войне — все сочувствие на стороне Израиля: приятно, когда маленький бьет большого . . .

Это — не дикость, не бескультурие, как думают многие евреи. Это — стремление себя уберечь от всепроникающего и вездесущего духа. Жажда отказать от зла. Не надо быть наивным и надеяться (как надеются некоторые евреи), что антисемитизм в России — это исключительно насаждаемый сверху, государственной властью, порядок, падающий на слепую, необразованную почву. Э-э-э, русский мужичок не так уж прост и совсем не слеп. Он давно знает, что и Ленин — еврей, и Сталин — тоже (грузинский еврей), и да-

же Лев Толстой — еврей (доводилось сталкиваться и с этой версией). Правда, примеры Ивана Грозного с причиной, Чингисхана и Мао Цзэдуна, которые при всем желании никак уже не могут быть евреями, несмотря на все чинимые ими бедствия, несколько озадачивают (а впрочем — кто их знает?). Короче говоря, еврей в народном понимании это — бес. Это — черт, проникший нелегальным путем в праведное тело России и сделавший все не так, как надо. Еврей — объективированный первородный грех России, от которого она все время хочет и не может очиститься.

Не нужно думать, что здесь влияют только реминисценции революции, двадцатых или тридцатых годов, когда евреи играли не последнюю роль в русской истории. Тема эта шире, много шире — даже советской власти. Это, если угодно, метафизика русской души, которая пытается в который раз (и революция из-за этого произошла) вернуться в первоначальное, райское состояние. А все не получается — все какой-то «жид» мешает и путает все карты. «Жид» — он где-то между нами, позади нас и, случается иногда, внутри нас самих. «Жид» — посреди зудит, он звинчивается повсюду и все портит. «Не жидись!» — это сказано с сердцем, с сознанием, что русский человек не должен, не может быть плохим. «Жиды одолели!» — как вши, как тараканы. Как бы от них избавиться!

А избавиться — трудно. Татарина, например, или цыгана — за версту узнаешь и заводишь с ним свои хитрые, свои русские, в общем-то простые, понятные (советские) отношения. А жид почти как русский — почти?! Его с первого взгляда не всегда угадаешь (и примешь за Ивана Иваныча). Жид — настырен, увертлив (а что ему остается?). Жид надо вылазливать, распознавать. Жид — это скрытый раздражитель мирной российской жизни, которая, не будь жидов, пошла бы по маслу... И мы были бы в раю, когда б не эти бесы.

Нынешняя антисемитская политика государственной власти зиждется во многом на том народном представлении (и потому ее никак «антинародной» не назовешь), что, стоит отрицать зло и предать его анафеме под видом ли «буржуэв», «правого» или «левого» уклона, под названием ли

«фашистов», «врагов народа», «убийц в белых халатах», или, проще сказать, под именем «жидов», как настанут спокойные, блаженные времена, поскольку внутри себя, посреди «своих», мы же все хорошие, образованные, и лишь «жиды» не дают, чтобы все образовалось...

Если в лагере зав. полит частью говорит молодому человеку, посаженному как «особо опасный государственный преступник» за «антисоветскую агитацию и пропаганду» (и говорит искренне, с болью в голосе):

— Как вы смеете не ходить на политзанятия, когда сейчас в мире идет такая острая идеологическая борьба?!..

— если в лагере приехавший из центра лектор, обращаясь к аудитории, состоящей сплошь из шпионов, диверсантов, террористов и ярых антисоветчиков, все же произносит полупешепотом:

— С Китаем у нас сейчас очень сложные, напряженные отношения. Только я прошу, чтобы все это осталось между нами...

— то это значит, что здесь мы все свои, «советские» люди (а как же может быть по-иному?!), и, значит, сор из избы нельзя выносить. «Империалисты», живущие во внешнем, недостижимом пространстве (у Козьмы Индикоплова все это отлично размещено и объяснено в его «Топографии»), только и зарятся на наши земли, на наши души, «империалисты» — это жиды, весь мир — жиды, но мы им никогда и ни за что не поддадимся!

Когда-то Салтыков-Щедрин, кажется, острил на счет «внутреннего врага». Так вот, жид в России сейчас и есть самый важный «внутренний враг», которого лучше выгнать во внешнюю зону (изгнание бесов), а потом (во вне — это гораздо легче делается) — раздавить танками. И для этого, вероятно, мы пока что, на будущий случай, посылаем наши танки — арабам.

Вы меня спросите: а какое все это имеет отношение к русской литературе? Тем более, что вы (то есть — я) заявляете, что, кроме художественных забот, у вас вообще нет никаких претензий. Вопрос — законный. И я, лая, как собака, и встав на четвереньки, попытаюсь ответить.

Во-первых, еврейский вопрос имеет самое непосредственное, самое прямое касательство к литературному процессу. Во-первых, всякий русский писатель (русского происхождения), не желающий в настоящее время писать по указке, — это еврей. Это — выродок и враг народа. Я думаю, если теперь (наконец-то) станут резать евреев в России, то первым делом вырежут — писателей, интеллигентов нееврейского происхождения, чем-то не подпадающих под рубрику «свой человек».

И в более расширительном смысле всякий писатель — француз ли он, англичанин, американец, которому никто не угрожает, — еврей. Которого надо бить (и тогда он, может быть, что-то напишет).

Во-вторых, нынешний еврейский «исход» из России во многом совпадает с тем, как уходят и уходят из России рукописи. Вы подумайте об этих рукописях, переправляемых за границу. Каждая — рискует. Каждая уже заранее занесена в список тех, кого надо истреблять, как жидов, которые мешают и не дают жить. И вы представьте, как они себя чувствуют сейчас, эти рукописи, убежавшие из России и не знающие толком, что им теперь, без России, делать. Все там осталось. Вся боль, позволяющая писать... Евреи! Братья! — сколько нас? — раз, два и обчелся...

... Когда мы уезжали, а мы это делали под сурдинку, вместе с евреями, я видел, как на дощатом полу грузо-

вика подпрыгивают книги, по направлению к таможене. Книги прыгали в связках, как лягушки, и мелькали названия: «Поэты Возрождения», «Живопись древнего Пскова». К тому моменту я уже от себя все отряс. Но они прыгали. Салтыков-Щедрин в сочинениях, которого я не люблю и никогда не любил, подаренный другом юности, с которым мы разошлись однажды — на очной ставке. Книги — тоже уезжали, независимо от того, хотелось им или нет. Поворачивались дома, улицы Москвы, с которыми мы прожили — с этими книгами. — всю жизнь. Мелькнул памятник Лермонтову (новостройка) — в позе молодого офицера — и сгинул. Но книги в связках прыгали вокруг меня и повторяли: «прощай». Я их увозил, эти книги, на свой страх и риск, не зная, что их ждет, ничего не обещая. Я только радовался, глядя на пачку коричневых книжек, что вместе с нами, поджав ушки, уезжает сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин...

Машину очень трясло. Дощаник под ногами — под книгами — раскачивался. Мы уезжали — навсегда. Все было кончено и забыто. И только один, которого я никогда не любил, Михаил Евграфович, может быть, упирался, хотя тоже подпрыгивал.

Мы выехали на Каланчевку. Даль была открыта нашим дальнейшим приключениям. А книги — прыгали. И сам, собственной персоной, поджав ушки, улепетывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин...

Июнь 1974 Париж

ДЖОРДЖ ЭДВАРД МУР И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА

Представьте себе, что человек смотрит на дерево и без конца повторяет: «Я знаю, что это дерево». Нет, он не сумасшедший. Это лингвистический философ. Примерно так описывает его Людвиг Витгенштейн в одной из своих последних работ. Можно сказать, что этот портрет имел свой реальный прототип. Это Джордж Эдвард Мур, автор речи «В защиту здравого смысла», произнесенной им на заседании Британской академии, где он, как говорят, поднимал поочередно то одну, то другую руку и повторял: «Я знаю, что это моя рука». Мур приводил этот пример в качестве высказывания, имеющего абсолютную достоверность. Вероятно, именно такой образ Мура останется в памяти потомков: чудаковатый и бескомпромиссный, эдакий Жак Паганель от философии, который по близорукости своей не видит очевидных вещей и поэтому вынужден их доказывать. Впрочем, настолько ли уж очевидных? Действительно ли высказывание «Я знаю, что это моя рука» является образцом вполне достоверного знания? (Витгенштейн писал: «Если вы знаете, что это ваша рука, то я гарантирую вам все остальное».) Но если вы знаете, что это ваша рука, то тогда зачем вы говорите об этом? Говорит, как правило, тот, кто сомневается. Тот, кто знает, молчит.

Джордж Эдвард Мур родился в 1873 году в Лондоне, учился в Тринити колледже, в 1930-е годы там же возглавлял кафедру философии. Умер в 1958 году.

Мур считается одним из основателей лингвистической философии XX

века. Еще в 1903 году он под влиянием книги Бертрانا Рассела и Альфреда Уайтхеда «Principia Mathematica» написал (знакомую советским читателям по русскому переводу 1984 года) книгу «Principia Ethica», где были заложены основы лингвофилософии, хотя распространение этот образ мыслей получил много позже, в 30—50-е годы XX века.

Чем же занималась лингвистическая философия (или ее американский вариант — философия лингвистического анализа) и каковы были ее основные доктрины?

В целом она явилась реакцией на логический позитивизм, господствовавший в первом тридцатилетии XX века, однако вместе с тем имела с ним общие корни: положение о том, что философия — это не наука, а деятельность по прояснению языка; что все проблемы классической философии являются псевдопроблемами, происходящими от неправильного использования языка (от злоупотребления языком): например, такие слова и выражения, как материя, добро, свобода воли и т. д. употребляются некритически, неоднозначно, каждый философ вкладывает в них свое содержание (традиционная философия — это болезнь языка); поэтому задачей новой философии является критика неправильного употребления языка; она состоит в том, чтобы прояснить значение языковых выражений и тем самым снять традиционные философские проблемы.

Здесь пути логического позитивиз-

ма и лингвофилософии расходились. Первый считал необходимым построение идеального логического языка, который в силу своей строгости будет избегать метафизических ловушек традиционной философии. Именно в этом ввели в первую очередь свою задачу деятели Венского кружка логических позитивистов М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Рейхенбах и их учитель Л. Витгенштейн.

Идеальный язык построить не удалось, хотя на этом пути было решено и поставлено множество интересных проблем философии, логики, лингвистической семантики.

Лингвофилософия шла гораздо дальше в своем метафизическом нигилизме. Ее представители А. Дж. Айер, Дж. Остин, Г. Райл, П. Стросон, Дж. Урмсон выдвинули под влиянием позднего Витгенштейна тезис, согласно которому «необходимо оставить все как есть». Они считали, что нужно просто анализировать обыденный язык, отыскивая в его выражениях и речевых употреблениях корни традиционных философских проблем. Это была своеобразная философская терапия языка. Здесь лингвофилософия, крайне рационалистическая по своим истокам, неожиданно пересекалась с иррационалистическими учениями Востока, прежде всего с дзенбуддизмом. В психологической практике дзена адепту может быть предписано на протяжении многих месяцев или даже лет вдумываться в глубинное значение бессмысленного на первый взгляд афоризма — коана. Для лингвофилософа также характерно пристальное вглядывание в смысл одного и того же языкового выражения. Он часами может рассматривать один пример обыденного использования языка, как правило, пример, кем-то уже употребленный до него. Так, в публикуемом ниже фрагменте Мур рассматривает по существу только два предложения: «Ручные тигры рычат» и «Ручные тигры существуют». Чтобы не отпугнуть читателя, мы так и назвали этот фрагмент «Рычат ли ручные тигры?», в то время как в оригинале он называется гораздо более сухо «Является ли существование предикатом?». Этот вопрос — один из самых старых и важнейших в логике (он

был затронут в наших прошлогодних публикациях в «Даугаве», № 7, 11 и 12). Глагол «существовать» — весьма странный. Хотя мы почти всегда можем сказать, что существует, а что нет, с логической точки зрения сказать, что нечто не существует, равносильно самопротиворечивому высказыванию: существует нечто, что не существует. Для Мура важнее всего вдуматься в употребление этого глагола, показать, что он не такой, как другие. Мур не настаивает ни на чем. Он все время повторяет вводное предложение «I think» (я думаю, я полагаю). Он как бы размышляет вслух, нисколько не заставляя читателя подчиняться его мысли, а скорее призывая его к соразмышлению. Мур понимает, что, копаясь в языке, он скорее всего ничего не обнаружит; но при этом будет проведена работа по расчистке языка, по прояснению его смыслов.

Мы привыкли к тому, что философия — это нечто весьма серьезное, академическое и скучное. Такова традиция, идущая от классической философии постренессансного периода. Она сохранилась и в XX веке. Ее представители — философы-академисты, философы на бумаге. Говорят, что Бердяев умер за письменным столом. Про него же рассказывают такой анекдот: Бердяев увлеченно рассуждает об иллюзорности времени, вдруг он спохватывается и смотрит на часы. Оказывается, он пропустил время принимать какие-то пилюли.

Об этом разрыве между мыслью и жизнью и о необходимости преодоления этого разрыва писал М. М. Бахтин в своей первой публикации «Искусство и ответственность». За то, что человек пережил и понял в искусстве (науке, философии), он должен отвечать своей жизнью. Сравним это с афоризмом русского философа Я. С. Друскина: «Я жизнь свою продумал, а мысли пережил» (См.: «Даугава», 1990, № 3).

Перевод публикуемого ниже фрагмента представляет ряд трудностей, связанных с тем, что некоторые группы слов и выражений, таких, как *mean* (значить, иметь в виду); *stand for* (означать, символизиро-

вать); meaning (значение); value (значение — как правило, применительно к предложению и высказыванию); significance (значение, значимость); sense (смысл) — с одной стороны, близки по значению, но, с другой стороны, именно с разграничения объемов таких понятий, как meaning и sense, началась одна из наиболее характерных для XX века наук — логическая семантика.

Отдавая себе отчет в этих трудностях, мы тем не менее в иных случаях, там, где этого требовал стиль и в то же время не страдало содержание, заменяли и варьировали перевод этих терминов. Например,

слова senseless и meaningless одинаково переводились как «бессмысленный».

Возможно, такой подход заслуживает критики, но поскольку наша публикация обращена не к специалистам, а к доброжелательным и долготерпеливым читателям «Даугавы», для которых (цитирую отзыв одного из читателей) наши публикации открывают дотоле совершенно незнакомый им мир, мы и впредь склонны надеяться на их расположение и снисходительность и считаем поэтому свою работу не пропавшей даром, а, хотя бы и отчасти, достигающей своей цели.

Джордж Эдвард Мур

РЫЧАТ ЛИ РУЧНЫЕ ТИГРЫ?

(...)

Лучше всего, я думаю, будет начать с одного специфического употребления слова «существует», именно с того, который М-р Нил иллюстрирует примером «Ручные тигры существуют». Он явно думает, что имеется некоторое очень важное различие между способом, при помощи которого «существуют» употреблено здесь, и способом, при помощи которого «рычат» употреблено в «Ручные тигры рычат»; и что есть различие, которое не является существенным, между употреблением «царапаются» в «Ручные тигры царапаются» и употреблением «рычат» в «Ручные тигры рычат». Он сказал бы, что и «царапаются», и «рычат» «обозначают свойства», тогда как «существуют» его не означает; и он сказал бы также, что «Ручные тигры существуют» есть высказывание другой формы, отличной от «Ручные тигры рычат», тогда как, я думаю, он сказал бы, что «Ручные тигры рычат» и «Ручные тигры царапаются» — предложения одной и той же формы.

Какого же рода различие между «Ручные тигры существуют» и «Руч-

ные тигры рычат» он мог иметь в виду?

(1) Что имеющееся различие между способом, при помощи которого мы употребляем «существует» в предыдущем предложении и «рычат» в последующем, — это различие другого рода, чем различие между нашим употреблением слов «царапаются» и «рычат» в предложениях «Ручные тигры царапаются» и «Ручные тигры рычат»; это различие можно, я думаю, выявить следующим образом.

Предложение «Ручные тигры рычат» кажется мне неоднозначным. Насколько я могу видеть, оно может означать «Все ручные тигры рычат» или оно может означать только «Большинство ручных тигров рычат» или только «Некоторые ручные тигры рычат»¹. Каждое из этих трех предложений имеет ясное значение, и значение каждого из них ясно различается

¹ I. E. Moore. Is Existence a Predicate? — In: Logic and Language (Second Series) / Ed. A. Flew. Oxford; Basil Blackwell (1955), p. 84—91.

от значений двух других. Для каждого из них, тем не менее, истинно, что высказывания, которые они выражают, не могут быть возможно истинными, если по меньшей мере некоторые ручные тигры действительно не рычат. И, следовательно, я думаю, мы можем сказать о предложении «Ручные тигры рычат», что, в каком бы смысле оно ни было употреблено, оно означает нечто, что не может быть возможно истинным, если по меньшей мере некоторые ручные тигры не рычат. Аналогично, я думаю, ясно, что предложение «Ручные тигры существуют» подразумевает нечто, что не может быть возможно истинным, если хотя бы некоторые ручные тигры не существуют. Но я не думаю, что имеется некоторая неоднозначность в предложении «Ручные тигры существуют», соотносимая с той, которая была мной отмечена применительно к предложению «Ручные тигры рычат». Насколько я могу видеть, «Ручные тигры существуют» и «Некоторые ручные тигры существуют» просто два различных способа выражения абсолютно одинакового высказывания. То есть можно сказать: неверно, что «Ручные тигры существуют» может означать «Все ручные тигры существуют» или «Большинство ручных тигров существует» вместо лишь «Некоторые ручные тигры существуют» и ничего более. Я сказал, что оно никогда не используется для обозначения того, что «Все ручные тигры существуют» или «Большинство ручных тигров существует»; но — и я надеюсь, это удивит каждого, — есть нечто сомнительное в моем высказывании. Представляется возможным предположить, что «Все ручные тигры существуют» и «Большинство ручных тигров существует» имеют ясное значение подобно предложениям «Все ручные тигры рычат» и «Большинство ручных тигров рычат»; и это только случайность, что мы не употребляем «Ручные тигры существуют» для выражения двух других значений, кроме значения «Некоторые ручные тигры существуют», в то время как мы действительно иногда употребляем «Ручные тигры рычат», имея в виду «Все ручные тигры рычат» или «Большинство ручных тигров рычат», а не только «Некоторые ручные тигры рычат». Но в этом ли дело? Имеют ли

предложения «Все ручные тигры существуют» или «Большинство ручных тигров существует» вообще значение? Конечно, они не имеют ясного значения, как имеют его «Все ручные тигры рычат» и «Большинство ручных тигров рычат». Это загадочное выражения, значение которых, если они вообще его имеют, не «написано у них на лбу». Все это, я думаю, указывает на то, что имеется некоторое важное различие между употреблением «существует», с которым мы имеем дело, и употреблением таких слов, как «царапаются» или «рычат»; но в чем заключается это различие, остается невыясненным.

Я думаю, оно может быть прояснено путем сравнения выражения «Некоторые ручные тигры не рычат» и «Некоторые ручные тигры не существуют». Первое, будучи истинным или ложным, имеет совершенно ясное значение — столь же ясное, как значение предложения «Некоторые ручные тигры рычат»; и совершенно ясно, что оба высказывания могут быть истинными одновременно. Но с предложением «Некоторые ручные тигры не существуют» дело обстоит по-другому. «Некоторые ручные тигры существуют» имеет совершенно ясное значение, оно означает просто: «Имеется некоторое количество ручных тигров». Но значение предложения «Некоторые ручные тигры не существуют», если оно вообще тут есть, конечно, не является вполне ясным. Это еще одно сомнительное и загадочное выражение. Имеет ли оно вообще значение? И если имеет, то в чем оно состоит? Если оно имеет какое-то значение, то понятно, что оно должно означать то же самое, что: «Имеются некоторые ручные тигры, которые не существуют». Но имеет ли это предложение какое-либо значение? И если имеет, то какое? Возможно ли, чтобы имелось некоторое количество ручных тигров, которые бы не существовали? Я думаю, ответ заключается в том, что если в предложении «Некоторые ручные тигры не существуют» вы употребите слово «существуют» в том же значении, в каком оно употреблено в предложении «Некоторые ручные тигры существуют», то тогда первое предложение в целом вообще не будет иметь значения — оно будет чистойшей бессмыслицей. Конечно,

предложению «Некоторые ручные тигры не существуют» может быть придано значение; но оно может быть дано только в том случае, если «существуют» употреблено иным образом, отличным от того, который использован в «Некоторые ручные тигры существуют». И если так, то отсюда следует, что «Все ручные тигры существуют» и «Большинство ручных тигров существует» также вообще не имеет значения, если вы употребляете «существуют» именно в том смысле, с которым мы имеем дело. Ибо «Все ручные тигры рычат» эквивалентно конъюнкции²: «Некоторые ручные тигры рычат и нет ни одного ручного тигра, который бы не рычал»; и это предложение имеет значение, потому что «Есть хотя бы один ручной тигр» имеет значение. Если, следовательно, «Имеется по крайней мере один ручной тигр, который не существует» не имеет значения, то отсюда следует, что «Все ручные тигры существуют» также не имеет значения; потому что «Нет ручных тигров, которые не существуют» не будет иметь значения, если его не имеет «Есть такой ручной тигр, который не существует». Аналогично «Большинство ручных тигров рычат» эквивалентно конъюнкции «Некоторые ручные тигры рычат, и число тех, которые не рычат, меньше, чем число тех, которые рычат» — утверждение, которое имеет значение только потому, что его имеет «Есть ручные тигры, которые не рычат». Если, следовательно, «Есть ручные тигры, которые не существуют» не имеет значения, то из этого следует, что «Большинство ручных тигров не существует» тоже не будет иметь его. Следовательно, я думаю, мы можем сказать, что одно важное различие между употреблением «рычат» в «Некоторые ручные тигры рычат» и употреблении «существуют» в «Некоторые ручные тигры существуют» заключается в том, что если в первом случае мы вставляем «не» (do not) перед «рычат», не изменяя значения «рычат», и получаем осмысленное предложение, в то время как, если в последнем случае мы вставляем «не» перед «существуют» без изменений значения «существуют», то мы получаем предложение, не имеющее значения; и я думаю, мы можем также сказать, что этот факт объясняет, почему при

данном значении слова «рычат» «Все ручные тигры рычат» и «Большинство ручных тигров рычат» оба имеют значение, в то время как при данном значении «существуют» «Все ручные тигры существуют» и «Большинство ручных тигров существует» является совершенно бессмысленным. И если, утверждая, что «рычат» в этом употреблении «означает свойство», в то время как «существуют» в этом употреблении «не означает свойства», мы отчасти имеем в виду, что именно в этом состоит разница между ними, тогда я соглашусь, что «существуют» в этом употреблении «не означает свойства».

Но действительно ли верно, что, если в предложении «Некоторые ручные тигры существуют» мы вставляем «не» перед «существуют» без изменений значения «существуют», то мы получаем предложение, которое не имеет значения? Я допускаю, что предложению «Некоторые ручные тигры существуют» может быть придано значение; и весьма вероятно, что кто-то не согласится, что значение, которое имеет «существуют» в этом предложении, при условии, что оно является осмысленным, является тем же самым, которое оно имеет в «Некоторые ручные тигры существуют». Я не могу доказать противного так ясно, как бы мне хотелось; но я сделаю все, что смогу.

Значение, которое имеют иногда такие выражения, как «Некоторые ручные тигры не существуют», примерно таково, каким оно является, когда мы используем его как «Некоторые ручные тигры являются вообразаемыми» или «Некоторые ручные тигры не являются настоящими тиграми». То, что предложение «Некоторые ручные тигры являются вообразаемыми» может действительно выражать высказывание, истинное или ложное, я думаю, нельзя отрицать. Если, например, написано два различных рассказа, каждый из которых посвящен двум разным вообразаемым ручным тиграм, то отсюда будет следовать, что имеется по меньшей мере два вообразаемых ручных тигра; и нельзя отрицать, что предложение «Два разных ручных тигра встречаются в рассказах» является осмысленным. Хотя у меня нет ни малейшего представления относительно того, является ли оно истин-

ным или ложным³. Я знаю, что по меньшей мере один единорог встречается в художественной литературе потому, что один встречается в Алисе в Зазеркалье⁴, и, следовательно, есть по меньшей мере один воображаемый единорог и, стало быть, в определенном смысле есть один единорог, который не существует. Опять-таки, если бы случилось так, что в настоящий момент у двух разных людей были бы галлюцинации в виде двух различных ручных тигров, то из этого следовало бы, что в настоящий момент имеется два различных воображаемых ручных тигра; и утверждение, что две такие галлюцинации имеют место, является определенно осмысленным, хотя весьма вероятно, что оно может быть ложным. Предложение «Есть некоторое количество ручных тигров, которые не существуют», таким образом, определенно имеет значение, если только при этом имеется в виду, что есть некоторое количество воображаемых тигров в одном из двух смыслов, на которые я пытался указать. Но при этом имеется в виду, что несколько реальных людей имеют или только что имели галлюцинации в виде воображаемых тигров или, может быть, видели во сне каких-то особенных ручных тигров. Если ничего в этом роде не произошло, тогда воображаемых тигров нет. Но если «Некоторые ручные тигры не существуют» означает все это, не ясно ли, что «существуют» не имеет в этом предложении того сравнительно простого значения, которое оно имеет в предложении «Некоторые ручные тигры существуют» или «Не существует ручных тигров»? Не ясно ли, что «Некоторые ручные тигры не существуют», если это предложение означает все это, не соотносится с предложением «Некоторые ручные тигры существуют» таким же образом, как «Некоторые ручные тигры не рычат» соотносится с «Некоторые ручные тигры рычат»?

(2) Есть, я думаю, также другое важное различие между этим употреблением «существует» и употреблением «рычат», которое может быть выявлено следующим образом.

М-р Рассел говорит: «Когда мы говорим: «Некоторые люди являются греками», это означает, что пропози-

циональная функция⁵ «X является человеком и греком» иногда бывает истинной» и он объясняет достаточно строго, что под «иногда бывает истинной», он имеет в виду «истинной по меньшей мере в одном случае». Я не думаю, что, имея в виду это его объяснение того, что он подразумевает под «иногда бывает истинной» по отношению к значению предложения «Некоторые люди являются греками», — строго корректно; я думаю, использование множественного числа предполагает, что «X является человеком и греком» является истинным в более чем одном случае, то есть, скажем, по меньшей мере в двух случаях⁶. Предположим, что он примет эту поправку, и скажем, что «Некоторые люди являются греками» означает не то, что «X является человеком и греком» истинно по меньшей мере в одном случае, а то, что оно истинно по меньшей мере в двух случаях. Далее он предполагает, что сказать о пропозициональной функции, что она является истинной по меньшей мере в двух случаях, равносильно тому, чтобы сказать, что по меньшей мере два ее «значения» являются истинными. Он говорит нам, что «значением» пропозициональной функции является предложение⁷. С этими объяснениями его точка зрения будет означать приблизительно то, что «Некоторые люди являются греками» означает, что по крайней мере в двух предложениях, связанных с пропозициональной функцией «X является человеком и греком» некоторым образом, который он выражает, говоря, что они служат «значениями» этой функции, являются истинными. Теперь я не могу представить, какого рода высказывания были бы значениями «X человек и грек», кроме высказываний следующего вида: имеются высказывания, которые мы выражаем, указывая (или обнаруживая его каким-либо иным способом) на объект, и употребляем при этом некоторые слова: «Это является таким-то и таким-то» (или аналогичными словами на каком-либо другом языке). Предположим, что ряд высказываний, которые будут являться «значениями» «X человек и грек», и будут высказываниями этого типа, где были бы употреблены слова типа «Это человек и грек». Доктрина М-ра Рассела будет здесь

состоять в том, что «Некоторые люди являются греками» означает, что можно сделать по меньшей мере два различных высказывания этого типа, что по меньшей мере должно быть два различных объекта, на которые человек может указать и сказать «Истинно, что «Этот человек является греком». И если в этом заключается его доктрина, она кажется мне похожей на правду. Ведь несомненно, что «Некоторые люди являются греками», не может быть возможно истинным, если нет по крайней мере двух различных объектов, в случае которых человек не мог бы увидеть их, указать на них и сказать: «Это человек и грек».

С этой точки зрения «Некоторые ручные тигры рычат» означает, что как минимум два значения пропозициональной функции «X есть ручной тигр и рычит» являются истинными; а это означает, что имеется как минимум два объекта, в случае каждого из которых человек может указать на него, увидеть его и сказать, сохраняя значение истинности «Это ручной тигр и это рычит». Ясно, что за исключением различия, состоящего в том факте, что «рычит» стоит в единственном числе, а «рычат» — во множественном, слово «рычит» имеет то же значение, что слово «рычат» в «Некоторые ручные тигры рычат». Мы можем сказать затем, что одна особенность употребления нами «рычат» состоит в том, что, если мы рассматриваем «значение» пропозициональной функции, которое является таковым, что «Некоторые ручные тигры рычат» означает, что по меньшей мере два ее значения истинны в выражении, имеющем такое значение. И, вероятно, это может быть отчасти тем, что имеется в виду, когда говорится, что «рычат» «означает свойство». Это, вероятно, может означать, что указать на объект, который вы видите, и употребить слова «Этот предмет рычит» — является осмысленным, что слова и жест вместе действительно выражают высказывание, истинное или ложное.

Но теперь рассмотрим предложение «Некоторые ручные тигры существуют»: истинно ли то же самое для «существуют» в этом предложении? М-р Рассел говорит: «Мы говорим, что «люди существуют» или что «человек существует», если пропози-

циональная функция «X — человек» иногда бывает истинной. И он продолжает протестовать против того, что, хотя предложение «Сократ — человек» эквивалентно «Сократ — принадлежит роду людскому» (is a human) «это не одно и то же высказывание». Что касается меня, то я сомневаюсь, употребляем ли мы вообще когда-нибудь выражение «принадлежит к роду людскому» так, чтобы «Сократ — принадлежит к роду людскому» было бы эквивалентно предложению «Сократ — человек». Я думаю, М-р Рассел употребляет выражение «принадлежит к роду людскому» в весьма специфическом смысле, в котором никто, кроме него, его никогда не употреблял, и это единственный путь объяснения, как он использует это выражение, чтобы сказать, что он использует его для обозначения в точности того, что мы обычно выражаем посредством слов «является человеческим существом» (is a human being). Если это так и если мы согласны делать различие, а я думаю, что мы должны его делать, между «люди существуют» и «человек существует» и сказать, что «люди существуют» означает не то, что «X — человеческое существо» истинно как минимум в одном случае, но то, что «X — человеческое существо — истинно как минимум в двух случаях», то я, думаю, его доктрина является истинной; при условии опять-таки, что мы согласны считать тот тип высказываний, которые мы выражаем, например, указанием на объект, который мы видим, и произнесением слов «Это — человеческое существо», таким, которые являются «значениями» пропозициональной функции «X есть человеческое существо». Но уверены ли мы, что «Человеческие существа существуют» может быть истинным, если и только если имеются по меньшей мере два объекта таких, что, если бы человек видел бы и указал на одного из них и употребил слова «Это — человеческое существо», он бы тем самым высказал истинное суждение?

Теперь, если это верно, мы сразу видим, что употребление «рычат» в «Некоторые ручные тигры рычат» отличается от употребления «существуют» в «Некоторые ручные тигры существуют» в том смысле, что тогда как первое утверждает, что более

чем одно значение «X — есть ручной тигр и рычит» истинно, то второе утверждает не то, что более чем одно значение «X есть ручной тигр и существует» является истинным, но лишь то, что истинным является более чем одно значение «X есть ручной тигр»⁸. В соответствии со своей точкой зрения, что «Некоторые ручные тигры существуют» означает то же самое, что «Некоторые значения пропозициональной функции «X есть ручной тигр» являются истинными, М-р Рассел вынужден сказать, что «Существование есть по существу свойство пропозициональной функции»⁹. «То, чье существование вы утверждаете или отрицаете, является пропозициональной функцией» и «это заблуждение переносить на индивиду то, что удовлетворяет пропозициональным функциям, предикат которых принадлежит только пропозициональной функции»; так что согласно его точке зрения существование в этом употреблении прежде всего — «свойство» или «предикат», хотя и не свойство и не предикат индивида, а только пропозициональной функции! Я думаю, это ошибка с его стороны. Даже если истинно, что «Некоторые ручные тигры существуют» означает то же самое, что «Некоторые значения «X есть ручной тигр» являются истинными», из этого не следует, я думаю, что мы можем сказать, будто «существуют» означает то же самое, что «является иногда истинным», а «некоторые ручные тигры» — то же самое, что «X есть ручной тигр»: действительно, я думаю, ясно, что мы не можем этого сказать; ибо определено, что пропозициональная функция «X является ручным тигром» существует» не означало бы то же самое, что «Некоторые ручные тигры существуют». Но что, я думаю, следует из этой интерпретации предложения «Некоторые ручные тигры», это другая вещь, которую М-р Рассел сам поддерживает, а именно, что, если высказывание, которое вы выражаете указанием на что-то, что вы видите, и произнесением слов «Это ручной

тигр», является «значением» пропозициональной функции «X является ручным тигром», то тогда, если вы, указывая на такой же объект, скажете «Это существует» и при этом употребите «существует» лишь как единственное число от «существуют» в том смысле, в котором оно употреблено в «Некоторые ручные тигры существуют», то тогда то, что вы сделали, будет вообще не выражением высказывания, а чем-то совершенно бессмысленным. То есть между «Некоторые ручные тигры рычат» и «Некоторые ручные тигры существуют» разница не только в том, что, тогда как первое утверждает, что некоторые значения пропозициональной функции «X есть ручной тигр и рычит» является истинным, а второе утверждает только, что некоторые значения пропозициональной функции «X есть ручной тигр» является истинным; есть еще более глубокое и важное различие, почему второе утверждает только, что некоторые значения «X есть ручной тигр» истинны не потому, что нам случилось употреблять «Это ручной тигр», имея в виду то же самое, что «Это ручной тигр и существует: но потому, что, указывая и говоря «Это существует», мы вообще не выражали бы высказывание, если мы при этом употребляли бы «существует» просто как единственное число от «существуют», в то время как, указывая и говоря «Это рычит», мы несомненно выражали бы высказывание, даже если бы мы при этом употребляли бы «рычат» только как единственное число от «рычат» в том значении, которое оно имеет в «Некоторые ручные тигры рычат». «Это ручной тигр и существует» было бы не тавтологией, но бессмыслицей.

Это, я думаю, дает нам второе справедливое утверждение, которое может быть частью того, что подразумевается, когда говорят, что «существует» в этом употреблении «не означает свойства».

Перевод с английского
и примечания В. Руднева

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выражения «все», «некоторые», «большинство» называются в логике кванторами. Они показывают, приме-

нительно к какой предметной области имеет значение данное высказывание, квантифицируют его.

2. Конъюнкция — логическая связка, означающая соединение выражений или высказываний, то есть такое положение вещей, при котором эти выражения или высказывания являются одновременно истинными или одновременно ложными. Знак конъюнкции читается, как и сочинительный соединительный союз, — «и».

3. Как правило, высказывания, принадлежащие художественному контексту, то есть говорящие о несуществующих персонажах или приписывающие историческим лицам никогда не происходившие с ними действия, являются осмысленными, но не являются истинными или ложными (по терминологии Фреге, они имеют смысл, но не имеют значения). Данный факт является логико-семантическим парадоксом, производным от парадокса существования.

4. В главе «Лев и единорог» «Алисы в Зазеркалье» Л. Кэрролла.

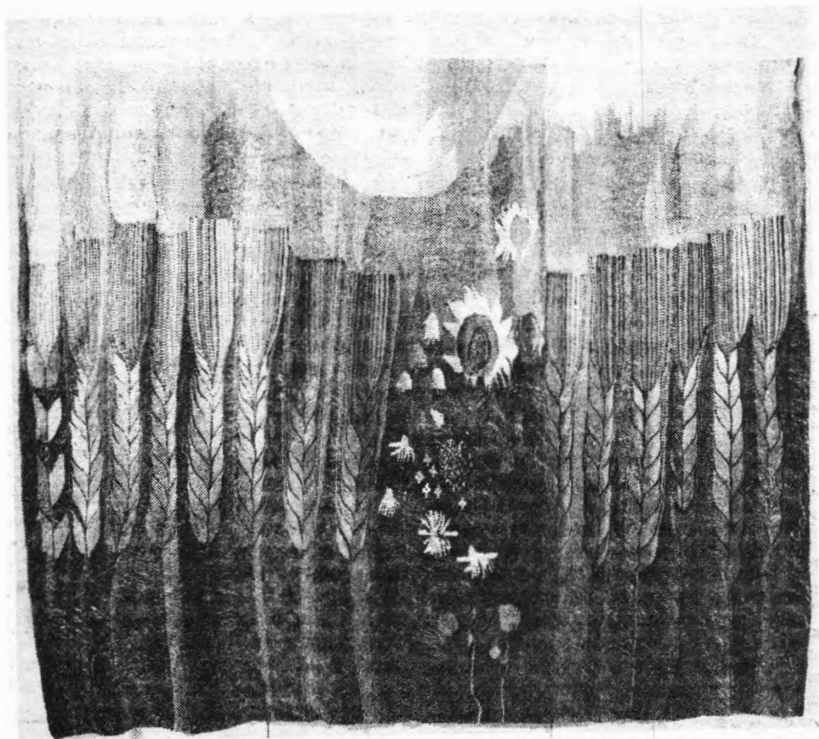
5. Пропозициональная функция, или открытое предложение, — выражение, частью которого является переменная. Например, « X — человек». Если мы подставим вместо переменной в нашем примере слово «Сократ», то получим истинное высказывание, а если «кентавр», — то ложное.

6. Мур считает, что употребление слова «некоторые» предполагает, что речь идет не о «по крайней мере одном», а «по крайней мере двух».

7. Когда мы подставляем вместо переменной X в пропозициональную функцию конкретное слово, то получаем истинное или ложное предложение, которое в этом смысле является значением пропозициональной функции.

8. Выражение « X есть ручной тигр и существует» избыточно, так как согласно правилу экзистенциального обобщения, если имеется выражение, что «есть ручной тигр», то это подразумевает, что ручные тигры (хотя бы один) существуют.

9. Остроумную идею Рассела, по моему мнению, следует понимать так. Существование не может быть свойством предложения, так как существование того, о чем будет говориться в предложении, входит в предварительные условия (пре-суппозицию) высказывания предложения. Иначе обстоит дело с пропозициональной функцией « X — рычит», которая ничего не говорит о конкретных вещах, не постулирует ничье существование, поэтому существование может являться свойством пропозициональной функции.



Эдите Паулс-Вигнере. Урожай. Гобелен

В ГОБЕЛЕНАХ — СУДЬБА НАРОДА

Выставки работ Эдите Паулс-Вигнере проходят в особой атмосфере. Художница как бы ведет нас за руку, и со зрителем ее связывают невидимые нити. Она словно выткала в цветочных полях и узорах себя и сама стала похожей на свои гобелены. Вот портреты, исполненные золотистой пряжей: седовласый отец художницы и мать, брат Раймонд, склонившийся над роялем в окружении

джазистов с саксофонами с одной стороны и скрипачей и хрупких танцовщиц — с другой.

Открывает выставку «Коррида» (1978) — с быком, косматым испанским быком во весь гобелен, на котором крошечное место занимает испанский орнамент. Это олицетворение силы и витальности. Вершить, наливаясь соком жизни, все видеть, все суметь!

Творить, побеждать, трудиться — суть посвящения «Рундале» (1982). Строгое полотно, замысел подобен сновидению у окна барочного Рая, где-то в долине реки Лиелупе. Скользя мимо нас силуэты немецких просветителей — ГДР, — а над московским Кремлем голубь (будто там, среди позолоченных куполов свил гнездо) — символ мира.

И кажется, ежеминутно слышен призыв художницы — берегите природу! Напоминания излишни, ибо роскошный гобелен вдруг исчезает, и перед глазами предстает нечто ветвистое, сухое, даже скелетоподобное... Видения, напоминающие коралловые рифы, сучья, какие-то рога. Не серый ли это радиоактивный дождь? Беречь, беречь, беречь — третье поколение. Вот они, его представители, в уголке зеленого луга, на краю волнующейся нивы...

Десятилетиями художница обращалась к коричневому тону земли — он похож и на родную пашню, и на «гадательную» кофейную гущу — если в ткань гобелена вливать что-то неожиданное. Через все поле провести ярко-красную полосу — клюквягода над зеленым мшистым болотом, как человек, возвысившийся над будничными заботами.

Но над полем парят золотистые бабочки, а значит, Эдите Паулс-Вигнере не чужда и сказка с ее красочностью. Пусть это даже наша недавняя сказка о прекрасном в превосходной степени!

Один из разделов экспозиции завершается объемным произведением «Вселенная». Тут — звездный свод, рубашка, а на ней — Адам и Ева. Может быть, судьба и человек?.. Наша рубашка — Вселенная. Мы все в ней.

Каждый должен побывать в рижской церкви св. Георгия, где недавно был открыт выставочный зал декоративно-прикладного искусства, еще и

потому, что здесь Эдите устроила алтарь. Конец февраля, а тут незажженная елочка! Никогда на ней не загорятся свечи: Литене, наше первое жертвенное место, место расстрела, 1941 год, перед самой войной, тайно убиенные — поля гобеленного полотна стали небольшими, строгими и серыми, как куски материнского платя — разодранного на отдельные судьбы. Страшная память жертв культа, откровение, боль — 1989 год — и по мосткам памяти восходит «Литенская мадонна», и вздымаются на полотне «Непоставленные кресты», и шестует по вспаханному полю «Приносящая цветы». Скорбно звучащая струна памяти. На небольшом участке полотна отразить боль за судьбу народную: от Литене к просторам Сибири, к местам глубокого и тайного погребения наших утраченных душ — «Короткий путь», «Норильск — город юности».

В старинной воскресшей церкви Эдите Паулс-Вигнере на пороге нынешнего десятилетия воздвигла алтарь народной памяти. Она сделала то, к чему наша литература еще только подступает.

И народ валом валит на выставку: в иные дни приходит по три тысячи человек и больше. Весь латышский народ хочет видеть ее. Чужестранцу долго рассказывать, что к чему, а мы чужем сердцем эту правду. Мы видим, как благородный, торжественный гобелен новых дворцов у порога алтаря превращается в сказание о судьбе народной, а материнский плат с золотым крестом и Литенской мадонной, раскинутый над теми, кто навеки погребен в Воркуте и Норильске. О чем писатель не написал, то выткала художница. Латыши — народ ткачей. Сидя за ткацким станком, Эдите Паулс-Вигнере ткала звезды в небе, борозды на пашне — и надежду на лучшее будущее.

Айварс КАЛВЕ

ПО ПОВОДУ ПРИЗРАКА

С удивлением узнал о публикации в 11-м номере вашего журнала моего сопроводительного письма к комментарию статьи «Истоки сталинизма».

Ах, как редакции «Даугавы» хотелось бы видеть себя «белым лебедем» в упряжке перестройки!

Но если «Даугава» с «голосами» — «лебедь» в повозке перестройки, а «призрак коммунизма» — «рак», то несдобровать вашему «лебедю». Ведь это сто пятьдесят лет назад коммунизм призраком бродил по Европе. А сейчас коммунизм — это такая сила, что «лебедь» будет ошипан и попадет как кур в ощи́п. «Крушение коммунизма» — это всего лишь сладкие грезы «голосов» и зачарованных ими журналистов. Недаром же вы, опубликовав сопроводительное письмо, не посмели опубликовать сам комментарий к статье «Истоки сталинизма». Я считаю, что факт ущемления гласности для таких, как я и Нина Андреева, есть показатель нашей идеологической силы.

Позвольте предложить вниманию журналистов, которые готовили к публикации «О раках, призраках и агентах мировой буржуазии», мою очередную работу — «Нина Андреева? Я — за!». Заметка написана в августе и разослана в три десятка редакций, но всюду отклонена.

Не могла бы ее отклонить и ваша редакция?

Виктор Вашкевич, г. Рига

ОТ РЕДАКЦИИ: Отчего же «не могла бы»? Тем более, что все уже сказано в Вашем письме.

НЕНУЖНЫЙ АТРИБУТ

Увлечись соединением пролетариата всех стран, мы даже не заметили, как со временем исчез сам пролетарий. Вместо него во многих странах возникли акционеры. А лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» так и прилип к нашим газетам и снять его просто забыли. И вдруг первый номер «Вечерней Казани» за 1990 год вышел без привычного лозунга.

Сначала сами учредители «Вечерней Казани», горком и горисполком, как будто не заметили его отсутствия. Потом, к сожалению, их кто-то надоумил или поправил.

Оказывается, главная ошибка редактора «ВК», народного депутата СССР А. П. Гаврилова, по мнению горкома КПСС, в том, что он снял лозунг, не посоветовавшись с народом. Говорят, до войны этот лозунг украшал любую печатную продукцию, даже налоговые квитанции...

Еще недавно чуть ли не в каждом кабинете можно было увидеть портрет В. И. Ленина со словами «Верной дорогой идете, товарищи!». Кто-то убрал их без всякого референдума. И народ не очень-то скучает по этому плакату. Ведь и раньше люди знали, что идут не совсем той дорогой!

Однако кое-где в районах все еще стоят каменные фигуры вождя с рукой указующей. Не так давно я видел нечто такое в одной захудалой, обросшей бурьяном, деревне, где вообще царит полное бездорожье. А вождь пролетариата и там уверяет пешеходов, что они идут верной дорогой.

На мой взгляд, очень правильно поступил народный депутат СССР, главный редактор «Вечерней Казани» А. П. Гаврилов.

Л. Закиров, член КПСС с 1952 г.,
г. Казань

СЛЕДУЯ ЛОГИКЕ ПРОФЕССОРА

В 11-м номере Вашего журнала помещена статья А. Жданка «Межнациональный конфликт или идеологическая борьба?». 30 ноября газета «Единство» опубликовала статью доктора философских наук, профессора Н. М. Ильичева, который полемизирует с А. Жданком. Называется она «Знаком ли с логикой доцент?»

Действительно, сравнивая аргументы профессора с доводами доцента (а эта научная степень, очевидно, относится к А. Жданку), отдаешь предпочтение в возникшей дискуссии т. Ильичеву. С моей точки зрения, наибольшую доказательную нагрузку несет такой аргумент профессора: он цитирует лидера Интерфронта А. Алексева, который сказал, что не может быть сталинистом, потому что, когда ему было всего пять лет, Сталин уже умер. Правда, непонятно, как, следуя этой логике, А. Алексеев может быть ленинцем или марксистом.

Оправдана также защита т. Ильичевым поэтического творчества Ф. Каца. Очевидно, поэзию Каца нужно оценивать не с высот Парнаса, а в сравнении со стихами собратьев по идеологии. В предвыборном информационном бюллетене Вентспилсского городского совета Интерфронта помещены, например, такие стихи неизвестного автора:

«КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ОТ НФЛ ПОСВЯЩАЕТСЯ

У них особенный статут —
Живут, Москвы не признавая,
Клеймя Москву и проклиная,
Ее публично отвергая,
С ней громогласно порывая —
А вымечко Москвы — сосут».

Осмелюсь предположить, что составители бюллетеня в годы сталинизма не достигли даже желаемого возраста, однако как верно они чувствуют традиции борьбы с «безродными элементами» конца сороковых годов:

«А сало русское — едят!»

Личного знакомства с Кобой не понадобилось.

С уважением
В. ГРАММАТИКОПУЛО,
г. Вентспилс

ВОСПОМИНАНИЯ, НАВЕЯННЫЕ «АРХИПЕЛАГОМ»

В № 10 вашего журнала А. И. Солженицын делится краткими воспоминаниями обо мне, по моим двум письмам, написанным в январе 1963 года в связи с выходом «Одного дня Ивана Денисовича» (см. с. 91, второй столбец со слов «Вот, например, Авенир Борисов и т. д.»).

Это из первой статьи. Второе письмо было в 1964 году, на которое он мне не ответил. В ответе на первое письмо он извинился за запоздалый ответ, так как «задушен и завален письмами».

Дальше автор «Архипелага» пишет обо мне: «Мы еще узнаём, как он ведет себя на воле, это достойный человек». Я мог бы написать, как живу. С ноября 1972 г. я на пенсии. Мне 16 ноября 1989 года исполнилось 77 лет. Вижу плохо, о чем говорит и это письмо. 9 лет, 3 месяца и 5 дней прошли в этапках, тюрьмах, пересылках, а 8 лет, 3 месяца и 5 дней я провел на строительстве дороги Воркута — Котлас. От Инты до Воркуты прошагал много раз, знаю каждый пикет.

Я — преподаватель истории. Кстати, после войны на Печоре было много людей из Латвии. Я уже был старый арестант, знавший все законы лагерей НКВД, а они были птенцами. Я остался жив благодаря двум обстоятельствам. Первое это то, что работал нормировщиком. Я старался кормить людей. Для этого надо было уметь туфтить, чтобы каждый ээк получил килограмм хлеба. За 8 лет я помог тысячам людей. Добро же не остается неоплаченным.

А второе — это постоянные молитвы мамы, глубоко верующей и всегда чувствующей своим сердцем — легко мне или тяжело, выживу я или нет. Она была уверена, что я вернусь домой. И меня освободили в январе 1946 года за недоказанностью обвинения.

А ведь еще в 1946 году, когда дорога действовала, я оставил на этой дороге более 200 тысяч «заполярных коммунистов». Это термин из одного тогдашнего анекдота.

Учитель географии. Кто проживает в Республике Коми?

Ученик. Народ коми и ээка.

Учитель. А кто это ээка?

Ученик. Заполярные коммунисты!

А. БОРИСОВ.
Костромская область

ДРУЗЬЯ ОТОЗВАЛИСЬ!

Во втором номере «Даугавы» за этот год было опубликовано письмо под заголовком «Друзья, отзовитесь!» Его автор Елена Максимовна Куцубина (Пан) из Ташкента просила редакцию помочь ей найти латышскую семью, которая приютила ее с матерью и сестрой во время войны. Фамилию и название хутора Елена Максимовна не могла вспомнить, знала лишь район. Редакция «Даугавы» в свою очередь обратилась в районную газету «Тукума вестнеснс», которая также опубликовала письмо Е. Куцубиной. О том, что было дальше, вы узнаете из нового письма, пришедшего из Ташкента.

Уважаемые товарищи! Благодаря вам я наконец-то нашла дорогих нашей семье людей. Как выразить всю радость, охватившую нас! Спасибо вам! Я понимала, что моя просьба, с которой я обращалась в различные инстанции и раньше, необычна. Официальным методом решить эту задачу со многими неизвестными нельзя: Значит, мне удалось найти людей с чуткими сердцами.

17 декабря раздался звонок междугородной. Звонила жена Эдгара Айя (если я правильно поняла имя) из Риги. Говорили мы сумбурно, обе волновались, она мне сказала, что Эдгар в больнице, и дала номер телефона. С Эдгаром мы разговаривали, как два родных человека. Нашей радости не было предела. Я ведь всегда знала, что мы дорогие друг другу люди. Слишком горькие годы и события нас связывали. И всю жизнь мы жили с чувством неоплаченного долга семье Калныньшей (теперь я знаю их фамилию).

Как жестоко с ними обошлея сталинский режим — за то, что тетя Эмилия и дядя Эдуард (теперь я знаю их имена) спасли нас троих, семью партизан! Наши мужчины сражались в отряде «Коммунар» бригады «За Родину». А Калныньшей репрессировали! Мы несли этот крест все эти 40 лет. Я по малости лет не могу указать точные факты, но знала, что Калныньши помогают нашим. Однажды я была невольным свидетелем разговора мамы и тети Эмилии с каким-то скрывающимся командиром Красной Армии. Разговор шел о еде. Потом тетя Эмилия вышла, и командир спросил, можно ли на наших хозяев положиться, а мама ответила: «Это очень хорошие люди, свои». «Ну и хорошо, что люди добрые, отцу легче будет воевать, зная, что вы в безопасности».

Помню, нас по какой-то причине возили куда-то на берег моря. Там было много русских. Немцы организовали какой-то молебен за германскую армию. Всех русских, за которыми не приедут хозяева, увезут в Германию. Мама сказала, чтобы мы молились. За нами приехал дядя Карл. Это было счастье.

Эдгар сказал мне по телефону, что дядя Карл погиб в лагере. Когда в больницу привезли газету с моим письмом, Эдгар прослезился и всю ночь не спал. Он пригласил меня в гости, и я обязательно во время отпуска приеду. Пойду на могилу тети Эмилии, поклонюсь праху этой многострадальной женщины; обязательно схожу и на братскую могилу, в которой лежат дядя Гриша и дядя Миша, расстрелянные немцами.

Надеюсь, что и Калныньши приедут к нам в Ташкент.

*С уважением и благодарностью
Е. Куцубина (Пан)*

ЭХО ГУЛАГА

Еще не успел выйти в свет номер журнала с письмом Е. Н. Кузубиной-Пан, а мы получили еще несколько похожих писем. Человек ищет человека и просит редакцию помочь. Думается, публикуя эти письма, мы окажем посильную помощь нашим читателям. Будем надеяться, что кто-нибудь откликнется на письма Владимира Караташа с Украины и Дарьи Афанасьевны Дзедатайс из Москвы.

Лабвакар! Добрый вечер! Для лучшего понимания буду писать по-русски. Дело в том, что в памяти своей и в душе я ношу имя сына Латвии Звейниека (если не ошибаюсь, его имя Артур). Он житель Риги, юрист, писатель. В Риге остались его дочь и жена, которых он очень любил. Будучи в Воркуте, в концлагере на шахте 1-я Капитальная, он со своими друзьями боролся против деспотизма палачей на протяжении многих лет, пока их организация не провалилась. Уже в концлагере подпольщики снова были арестованы. Шло долгое, тяжелое следствие. Их было 12 человек. Четверых расстреляли, восьмерым дали по 25 лет. Это произошло перед самой смертью тирана Сталина.

Очень хочется найти дочь и жену Звейниека и рассказать им, как боролся и умер Артур. Я на конверте написал имя Валентина Якобсона, потому что он тоже был репрессирован и возможно захочет связаться со мной.

Владимир Караташ,
Кировоградская область

У МОГИЛ ДОРОГИХ НАМ ЛЮДЕЙ

Мы разыскивали на Кузьминском кладбище (живем недалеко) могилу А. Вальтера и Е. Гинзбург. Когда заходим на кладбище, кладем цветы на их могилу. К вам у нас просьба — если располагаете сведениями, сообщите, пожалуйста, день рождения Е. С. Гинзбург, «Крутой маршрут» которой с нами всегда.

Семья Стаскевич (Москва)

ОТ РЕДАКЦИИ: Евгения Семеновна Гинзбург родилась 20 декабря 1903 года.

ПОПРАВКА. В первом номере «Даугавы» последнюю строку второго абзаца на 123 стр. следует читать «... Кодацкого, Чудова, Струппе, Позерна».

РЕДАКЦИЯ

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Атис Иевиньш, Ритварс Скуя.

Обложка художника
Андрея КАЛНАЧА

Сдано в набор 01.03.90.
Подписано к печати 2.04.90. ЯТ 00120.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,
12,50 уч.-изд. л. Тираж 98 000.
Заказ № 400. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ
Корректор
Любовь СОКОЛОЗСКАЯ.

ЭДИТЕ ПАУЛС-ВИГНЕРЕ



Москва



Карнавал (фрагмент)

Гармония





Сохраним
природу



Третье поколение
Фото Атиса Иевиньша

Литенский цикл

